



ВОЕННАЯ



БИБЛИОТЕКА



ШКОЛЬНИКА



\*



ИЗДАТЕЛЬСТВО



«ДЕТСКАЯ



ЛИТЕРАТУРА»



Борис Полевой

МЫ —  
СОВЕТСКИЕ  
ЛЮДИ







**Борис Полевой**

***МЫ — СОВЕТСКИЕ  
ЛЮДИ***

**Рассказы**

**Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974**

Р 2  
П 49

***Рисунки В. ЩЕГЛОВА***

***Оформление А. РЕМЕННИКА***

П  $\frac{70803-470}{M101(03)74}$  265—74

© Иллюстрации.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1974 г.

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА

---

**М**атвей Кузьмин слыл среди односельчан не-людимом. Жил он на отшибе от деревни, в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил, с собакой, со старым ружьишком за плечами, в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с вну-чонком Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал там целыми неделями.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам, неведомо где? Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне. Впрочем, он справно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в округе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком.

Когда военная беда докатилась до озерного Великолукского края и в колхоз «Рассвет» стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой горнострелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то донес о мрачном, не-людимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост.

Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги.

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта.

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», была поставлена задача без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею, столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотинку, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую тайную охотничью приметку?

Старика привели к командиру, и предложил ему офицер ночью, скрытно, провести батальон в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное — мечту охотника: двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца».

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драбую баранью шапку. Взглядом знатока посматривал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей с такой тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо, — сказал наконец Кузьмин, погладив ствол заскорузлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — И деньжонок прибавишь, ваше благородие?

— О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер. — Переведите ему: он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалеет денег тем, кто ему верно служит.

Офицер торжествовал: найден надежный проводник! Но да-

же не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых лесах, куда он попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных ему людей, этой коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пенек мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать не раздеваясь и класть под подушку пистолет со взведенным курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих неистовых фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома, деньги имеют силу. Как испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему!

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему тысячу рублей,— торопливо добавил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дешево купить хотите.

— Ну, полторы, ну, две тысячи!

— Половину вперед, ваше благородие.

Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола и небрежно сунул за подкладку шапки.

— Ладно. Поведу вас тайными тропами, какие, кроме меня, только волки знают. Скажите точно, куда выйти надо.

Ему называли пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие.

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда дюжий парень, бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил красного петуха за якшанье с немцами, он только буркнул, не оборачиваясь:

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утерла.

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу

старик свои широкие подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер.

А немцы тем временем готовились к выступлению. Их командир сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампы дописывал письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксонии.

«Милый Вилли,— писал он,— вот уже месяц, как я начал это письмо, и все не соберусь его кончить. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет! Времени было больше чем достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся, так как эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу...

...Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашел ключ к этой проклятой, загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат,— это старый добрый ключ, который открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, полагая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат автоматы молодцов господина Г. Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархе-охотнике с внешностью короля Лира, с каким-то именем, которое я никак не могу запомнить (черт бы побрал эти русские имена!). Сегодня я проэкспериментировал на нем, и, представь себе, дорогой Вилли, эксперимент блестяще удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня... Ну вот, Курт уже докладывает мне, что батальон готов выступать. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз...»

Когда стемнело, горнострелковый батальон, на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на саночках, вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес.

Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине, а они старались не выходить из его следа.

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути.

Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем,— и напоминал о ружье.

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились стрелки вековым лесом, которому, как казалось, не было ни конца ни краю. В потемках они натывались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья.

Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученную растянувшуюся колонну.

Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел наконец на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает,— сказал старик.

Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних отставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися, засверкавшими полями. Не скрывая усмешки, косился он на немцев.

Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегيري, деловито лущившие маленькие черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака.

— Матвей Кузьмин свое дело знает,— повторил старик.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его хмурое лицо.

И вдруг тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слюдой наста острые

фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей.

Пулеметы строчили совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, падали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы секли и секли снежную равнину, огнем своим как бы сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, неприятель кинулся было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы...

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса устремились назад к лесу, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, командир бросился к старику.

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой. Его было видно издалека. Ветер трепал его бороду, развевал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил, как, будто стадо овец, метались по опушке чужие солдаты.

У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом рывком он выхватил парабеллум и навел его в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски бесстрашно:

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке.

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул что было мочи, во весь голос:

— Сынки! Не жалей Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не упознала!.. Матвей...

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сраженный пулей немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав и шага, он упал, подрубленный пулеметной очередью, уткнувшись лицом в валенки старика.

А в овраге уже возникло и, нарастая, раскатывалось «ура».



Через отполированную ветрами кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя последних противников, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеленой лес, по следам, оставленным на насте.

Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый сердитый Шарик. Вдруг собака застыла, недоуменно подняв уши. И грохот боя, гулко доносившийся из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой...

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартели «Рассвет», что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами.

Его хоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями холмиком мерзлой земли.

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы убитых, прочел недописанное письмо немецкого офицера, которое так и не получил инженер Вильгельм Штайн из Саксонии.

*1942 г.*

Эту историю, похожую на сказку, историю, правдивую с начала и до конца, слышал я в лесах Холм-Жарковского района, Смоленской области, когда были они еще партизанским краем. И рассказывали ее мне партизан-подрывник Николай Федорович Сомов и сынишка его Юра, бывший ученик ремесленного училища, а в те дни — партизанский разведчик, прозванный в отряде Солнышком за круглую, вечно сияющую физиономию и огненный цвет кудрей.

— Когда фриц взял Вязьму и пер уже на Москву, родные наши места, то есть именно колхоз «Красная Ореховка», очутились сразу в глубоком немецком тылу, — начал рассказ Николай Федорович.

— Километрах в трехстах от фронта, — уточнил Юрка, паренек, как я уже заметил, деловитый, любивший во всем конкретность.

— Правильно. И не мешай мне рассказывать... Моду взял во взрослый разговор лезть! — Отец покосился на него. — Ну, а мы, значит, не растерялись, и скоро недалеко от нашей «Красной Ореховки», в самой вот этой лесной глуши, появился партизанский отряд товарища М. Фамилии пока называть не буду, не положено, да вы его и так знаете. Начали мы, можно сказать, ни с чем: одна винтовка на пятерых и та без патронов, да с ящик гранат, да бутылки эти самые с ка-эсом. Однако скоро оперились — и оружием и добришком военным разжились. Всё в бою добыли. Даже немецкую рацию захватили.

Был у нас в отряде партизан Санька, до войны в районе кино крутил, умеющий парень. Он эту рацию, значит, быстро раскусил, поковырялся в ней, что-то там исправил. «Мы, говорит, теперь, ребята, с вами не глухие и не слепые. Москву, говорит, будем слушать...» Только кто в лесах, как мы вот, повоевал, знает, что такое значит своя рация. Великое это дело! Ну, надел он наушники, а ребята стали вокруг и шеи, как гуси, вытянули: не терпится узнать что на Большой земле, где Красная Армия воюет, как Москва. А было это, как сейчас помню, в октябре. По утрам-то уж поля от инея седали, заморозок болотца прихватывал.

— И не в октябре, а в конце октября,— поправляет Юрка.

— Ну что ты с ним сделаешь, совсем распустился парень! Сколько раз тебе долбил: не суйся, когда отец говорит, не лезь во взрослую беседу. Ступай отсюда! — рассердился Николай Федорович и, дождавшись, пока сын отошел, продолжал: — Ну, верно — в конце, а какая разница? Словом, стоим мы вокруг приемника всей гурьбой, сколько нас было, окромя часовых, конечно. Вдруг Санька поднимается, белый, губы дрожат, точно его по голове прикладом тяпнули: «Москва говорит, ребята...» — и не докончил, сел на кочку, закрыл лицо руками да как заплачет! А детина здоровенный, аж страшно, когда такой-то плачет. Ну, все стоят и молчат. Командир трясет Саньку за плечи: «Врешь!.. Может, ослышался?.. Ну, отвечай, отвечай народу!» — «Нет, отвечает, точно. Передача, говорит, идет из Куйбышева. Сказали — оставили Москву и Ленинград, и Горький, говорят, на липочке держится и что Красная Армия с боем планомерно отходит на рубеж Урала». Командир говорит: «Врешь, я сам слушать хочу». Садится к рации, и тут, как всегда с этим радиовом бывает: в самый нужный момент треск, шум, не разбери-поймешь — и передача кончилась.

Что мы тогда пережили в этот день, и сказать нельзя. Ходим, и каждый будто только мать похоронил. Шутка сказать — эдакие вести!

Вечером, когда по часам-то вечерние известия полагались, командир говорит Саньке: «Настрой свою машину и катись к черту». Сам за наушники сел. Слушал, слушал, потом встал, ничего не сказал, ни на кого не глянул, и все мы поняли: худо...

А немцы к тому времени по деревьям развесили листы своп к партизанам: дескать, напрасно воюете — Москва и Ленинград пали, Горький и Иваново в наших руках, остатки Красной Армии отходят за Урал; дескать, дело ваше пропало, складывайте оружие, выходите из лесов — и вам ничего не будет. Верить им,

понятно, никто не хотел. Как же это, скажите на милость, поверить, что Красная Армия разбита?! А тут это радиово из Куйбышева...

— Да не из Куйбышева, а из Кенигсберга, — нетерпеливо врывается в разговор Юрка, незаметно опять подошедший к нам и ставший за спиной отца.

— Это верно, но это-то мы потом узнали, а тогда и невдомек, что немцы нам голову морочат: вроде и часы те же, и голоса у читальщиков знакомые. Да-а-а... Ну ладно, от таких, значит, вестей живем мы все, точно под топором. И вот тогда-то как раз вышла одна наша бабешка-колхозница, вдова Катерина Васильевна Жаринова, к себе в огород белье повесить. Вышла и смотрит: лежит на снегу газета. Развернула. Вроде знакомая газета — «Правда». И фотография на первой странице подходящая: Мавзолей, на Мавзолее, как полагается, все Политбюро рядом, а перед Мавзолеем народ, войска маршируют... Когда такой? Да сейчас вот, Седьмого ноября... Газета, выходит, свежая. Что такое?

Схватила вдова Жаринова эту газету и прямо без памяти — в избу, сует дочери: «Читай, читай, дочка, скорее: что тут пишут?» Дочь читает, глазам не верит: верно, парад в Москве. И заголовок на всю страницу: «Захватчикам жить осталось недолго». Тут соседка к Жариновым сунулась за сковородкой или еще за каким женским делом. Снова все перечитали. Вечером в избу повалил весь колхоз.

Газета по рукам ходит, рассматривают ее, как диковинку какую, руками щупают, ей-богу. Настоящая, самая обыкновенная, можно сказать, родная, привычная. И такая тут радость в людях поднялась, и сказать невозможно! Вечером из деревни к нам в отряд связной прибежал. Пот с него градом, мокрый, как суслик, кричит: «Ребята, радость! Бабешки свежую газету «Правду» нашли! Парад, говорит, на Красной площади был. Оккупантов всех бить к чертовой матери будем!» — и все такое.

Ну, всех словно живой водой сбрызнули. Послали людей за этой самой газетой, притащили ее в отряд, разожгли громадный кострище, собрали возле него весь народ и всю-то ночь газету ту вслух читали, от передовой статьи до самого последнего объяснения московского коменданта. Только одним прочтешь, хват — новые подошли, читай сначала. И новые слушают, и старые не отходят. Ведь у нас тогда от немецкого радиово все уши завяли. Мы по настоящему-то, по правдивому слову стосковались.

Те, кто помоложе, у кого память посвежей и статью и речь назубок вытвердили в эту ночь. Он вон, Юрка, и сейчас вам еще, поди, слово в слово перескажет, только спроси... Да ладно, не надо, так поверят, уж и рад!..

Ну, так и пошла эта весть о найденной газете от одного к другому на много верст. И стали дальние-то деревни тайком от немцев ходоков выделять, и ходоки эти иной раз по сто верст шагали к нам в «Красную Ореховку», чтобы газету почитать. На немецких плакатах со всякой там брехней углем стали выводить: «Вранье».

Посветлело у людей на душе. Нет, нашу Советскую власть не свалишь! Ну, и наши партизанские дела пошли веселей. Народ к нам косяками пошел. Только со своим оружием, да и то с разбором, принимать стали.

Немцы обеспокоились. В чем дело? Что такое? Нашлась у нас одна сволочь: Павлов Петр, первеющий на весь район был ворюга, сидел не раз... Так вот и донес он на Жаринову. Дескать, газета такая у ней завелась, что людям головы мутит. Ну, эсэсманы на грузовике прикатили — человек пятнадцать, при пулеметах. Вломились к Жариновой в избу. Где газета? Подавай газету. Стоит Катерина перед ними блее савана: «И о чем вы спрашиваете, не знаю, ни о какой газете не ведаю». Стали спрашивать: «А зачем к тебе люди со всей округи ходят?» И тут Катерина не растерялась. «А я, говорит, лекарственные травы собираю. Врачей-то, говорит, вы всех угнали, вот, говорит, и лечу людей хворых, они и ходят».

Складно соврала, да ей не поверили. Должно быть, этот Павлов Петр им все данные выложил. Да и видать, очень уж немцев газета эта допекла. Да-а-а... Мучили Катерину долго. Руки выламывали, волосы по прядке дергали, — словом, фашисты! Плачет она и не сознается: «Хоть убейте, ничего не знаю». Вывели ее на огород. «Говори, где газета, а то хату спалим». Запирается Катерина Васильевна: «Жгите, ничего мне не известно».

Голос у Николая Федоровича дрогнул, сорвался. Партизан отвернулся, сделал вид, что поперхнулся табаком, стал тереть ладню глаза.

— Чертова махорка, горлодер проклятый, не табак, а сущий укус!.. Так вот, сожгли они избу, а напоследок и ее застрелили. А газета-то была у баб спрятана на огороде, под приметным камнем возле ветлы. Дочка вдовы — тоже Катя по имени, — теперь она у нас в отряде сестрой милосердной; если хотите, мы ее сейчас покличем, — так вот она ночью пробралась



на тот огород, газету из-под камня достала и принесла ее к нам.

И опять пошла «Правда» ходить по людям. Обветшала вся, обтрепалась. Мы ее по сгибам да по уголкам промасленной бумагой оклеили и продолжали по колхозам читать.

Ну, а силы у нас партизанские все росли, это само собой. Немец к тем дням всех солдат под Москву оттянул, потому что ему там лихо стало, а по деревням в гарнизонах так — старичье разное осталось, самый последний разбор. И вот в одночасье ударили мы на его гарнизоны, всех их там переколотили, округу нашу очистили, и организовался у нас этот самый партизанский край, куда сейчас фриц без танка и носа сунуть не смеет. Ну, это вы все сами знаете, об этом говорить нечего.

Я о газете. А газету ту командир наш спрятал. «Сохранять, говорит, буду, потому, говорит, исторический документ. Фашистов, говорит, расколотим и газету эту в самый что ни на есть важный музей повесим. Пусть, говорит, потомки дивуются, какие у нас во время войны газеты были».

— Ну, и где же она?

— Вот где — это сейчас вопрос. Хранил ее наш командир, можно сказать, как зеницу ока, газету эту, потому он, командир-то наш, был до войны партийным секретарем и в таких делах понимал, что к чему. Однако раз прислал к нему из соседнего района командир отряда своего разведчика. «Давай, пишет; газету нам. Для тебя это — исторический документ, поскольку вы, значит, уже освободились, а мы, пишет, еще под немцем, она нам еще как оружие боевое».

Ну, делать нечего, отдали им эту газету под расписку, и пошла она опять гулять по людям.

— Ну, а теперь где она?

Николай Федорович разводит большими узловатыми, оплетенными веревками вен руками, трудовыми руками колхозного кузнеца, с которых даже тут, в лесу, не отмылись копать и металлическая гарь.

— Вот уж это и не могу сказать. Потеряли мы ее след. Теперь уж и район, где действует тот командир, что у нас газету выпросил, тоже освободился, тоже партизанский край. Меня туда по делам посылали, трофейную пушчонку лечить, ну, заодно командир наказывает: «Газету у них заberi, я, говорит, ее обязан на Большую землю отослать». Спрашиваю: «Где газета? Гоните назад!» А товарищ Н. ихний говорит: «Спохватились! Да еще в декабре приходили ко мне ребята из-под самого аж из-под Бобруйска, мы им и отдали».

Николай Федорович ухмыляется. Зубы у него белые, крепкие. Лицо, освещенное улыбкой, молодеет.

— У нас по деревням про ту газету сказки говорить начали. Ей-бо!.. Будто бросили эту газету немцы в огонь — не горит, ножом ее резали — не разрезали. Осерчали они, скомкали ее, заложили в оружейную гильзу и — бах! И, говорят, будто она, газета-то, от этого не только не пропала, а стало их целый миллион.

— Брехня, — солидно обрывает Юрка. — Бабы сказки!

Николай Федорович смотрит на сына, маленького, крепкого, задористого.

— А вот и не брехня. Скажешь, плохо мы сейчас с Большой землей связаны? Мы, дорогой товарищ, теперь и «Правду», и «Известия», и вон ихнюю «Комсомолку», и всякие иные даже, почту каждую неделю получаем. И хоть читаем мы газеты с опозданием недели на две, однако все знаем — и как вы там живете, и что делаете, и как союзнички за Ламаншей себе затылок чешут, и как Красная Армия наступает и бьет немца по всем фронтам.

Партизан крепко и ласково хлопает по плечу сына. Тот пошатывается от этих ударов, но упрямо стоит.

— Что, скажешь — не так? А то — «бабы сказки»!.. Их тоже понимать надо, сказки-то, Ерш Ершович.

*1942 г.*

**В** дощатую комнатку одного из немногих уцелевших в поселке зданий, где сразу же после изгнания немцев разместил свой кабинет председатель Нелидовского райсовета, мелкими шаркающими шажками вошла маленькая, сутуловатая, не по возрасту подвижная женщина лет шестидесяти. Ее пушистые кудри, выбившиеся из-под глубоко надвинутого берета, были снежно-белы, но глаза, черные, большие, еще красивые, глядели молодо, и живость их странно контрастировала с серебром волос.

На мгновение она изучающе остановила взгляд на усталом лице председателя и потом, точно решив про себя, что это человек стоящий и говорить с ним можно по душам, спросила:

— Вы не бывали в Торопце? Нет. Очень жалко. Если бы вы бывали в Торопце до войны, вы бы, наверное, знали моего мужа. Меня зовут Сара Марковна, Сара Марковна Файнштейн, Я жена Гершеля Файнштейна, лучшего в Торопце мужского портного, и мать трех сыновей, которые все сейчас в Красной Армии и все воюют с немцами. Дай бог всем хорошим людям имени таких сыновей!

Она села бочком на краешек предложенного ей роскошного кресла, неведомо как попавшего в эту неуютную каморку с темными бревенчатыми стенами и, теребя сухими, точно обтянутыми пергаментом, пальцами бахромю черной шали, продолжала:

— Нет, вы, пожалуйста, только не подумайте, что я пришла к вам о чем-нибудь попросить как красноармейская мать. Нет, нет, как можно! Я приехала к вам издалека по делу, по очень

важному делу. Вы меня слышите? Я ехала к вам из Торопца трое суток на трясучих грузовиках по этим самым ужасным деревянным дорогам, — чтобы самому Гитлеру по ним до самой смерти кататься! Вы это слышите? Я приехала рассказать вам, какие люди живут в вашем районе... Нет, нет, не беспокойтесь, я вас не задержу... Это касается не только меня. Боже упаси, разве я направилась бы в такой путь, если бы это касалось только меня! Но вы же глава района, вы должны знать, какими достойными людьми вы руководите. Вы знаете колхоз «Буденный», тот самый, что на Торопецком тракте? Знаете? Ну, чего вы молчите, скажите «да» или скажите «нет».

— Знаю, — произнес наконец, с трудом подавляя улыбку, председатель странным, приглушенным голосом.

Около года, пока район был оккупирован немцами, он партизанил со своим отрядом в здешних лесах, именно в лесах, так как оккупанты, превращая этот край в «мертвую зону», сожгли здесь почти все деревни, кроме тех, что стояли у больших оврагов. За год, проведенный в лесных чащах, в землянках, у костров, председатель отвык от жилья и теперь никак не мог соразмерить свой звучный бас с крохотными размерами кабинета и поэтому, боясь оглушить человека, стеснялся говорить в присутствии посторонних.

— Ну вот, вы знаете, и очень хорошо. Теперь слушайте меня, слушайте внимательно, я расскажу вам что-то такое, что вас, как главу района, обязательно поразит в самое сердце.

Торопясь, волнуясь, старушка принялась рассказывать о том, что пережила и видела она в этих краях в лихую пору немецкой оккупации.

В первый же день войны Сара Марковна проводила в военкомат младшего сына. Вскоре ушел на фронт старший сын, оставив на попечение старикам свою жену Хану. Средний был кадровым военным и уже воевал где-то в Белоруссии.

Когда немецкие дивизии прорвались к Неману и Торопец был объявлен на осадном положении, старый Гершель отыскал в сарае ржавый заступ и, захватив с собой смену белья, ушел в один из рабочих батальонов, строивших под городом оборонительные рубежи.

— Не беспокойся, Сара, главное — без паники. Дальше старой границы их не пустят, — говорил он, прощаясь. — Ну, а если какие-нибудь шальные прорвутся, их задержат на наших окопах. Ты знаешь, какие это будут окопы? Ого! — И он торжественно потряс ржавой лопатой перед заплаканным лицом жены.

Но немцы прорвались сквозь старую границу. Не удержали их в этих краях и новые оборонительные рубежи. И вот однажды поток беженцев, двигавшихся на восток по Торопецкому тракту, поток молчаливых, подавленных людей, грузовиков, подвод, груженных скорбью, гуртов пыльного, усталого скота, поток, несущий с запада, с оккупированных земель, глухие слухи о бесчисленности сил наступающего врага, о его свирепости, смысл и семью торопецкого мужского портного.

Бросив все добро, даже не заперев квартиры, Сара Марковна вышла ранним утром из родного города с дочерью Раей и невесткой Ханой. Они поддерживали старушку под руки и несли ее узелок.

Это было в те дни, когда фашизм упивался своими победами. Берлинское радио непрерывно играло марши и каждый час передавало сводки о взятых деревнях и городах. Вражеские летчики развлекались тем, что пикировали с поднебесья на живые реки, лившиеся по большим и малым дорогам на восток, в глубь страны. Они тренировались в бомбометании, целя в беженцев. Истребители с черными крестами на крыльях носились на бреющем полете над головами беззащитных толп, поливая их огнем пулеметов и пушек.

При выходе из Торопца, на мосту, пуля такого истребителя убила Хану. Ее труп вместе с другими отнесли в сторонку и положили у реки в тени прибрежной ивы.

Через день от бомбы пикировщика погибла Рая. На месте, где стояла девушка, осталась только глубокая дымящаяся воронка.

А Сара Марковна все шла и шла, шла как-то механически, окаменев от горя, шла, ни о чем не думая, ничего не помня, кроме того, что нельзя отставать от этого людского потока, нужно двигаться на восток во что бы то ни стало.

Чьи-то руки поднимали ее, когда она без сил падала в горячую пыль дороги. Кто-то давал ей кусок хлеба или картофелину, и она, даже не поблагодарив, съедала это, не чувствуя ни голода, ни вкуса пищи. По ночам незнакомые голоса подзывали ее к кострам, и она подходила, грелась у чужого огня — мать большой семьи, оставшаяся вдруг одинокой.

На четвертые сутки она занемогла. Сойдя с дороги, она легла в пыльную, затоптанную траву, пахнущую дегтем, бензином и конским потом. Она решила, что тут и умрет, так как уже не в силах была двигаться. Мимо нее, стуча колесами, тянулись телеги. Тоскливые, недоумевающие детские глаза смотрели из-за пыльных узлов. Роняли желтую пену усталые кони,

скрипели колеса, печально мычал изнывающий от жары, задыхающийся в пыли скот.

У людей, шагавших за телегами, тащивших на плечах, кативших на велосипедах, в ручных тележках, в детских колясках узлы с остатками добра, были сухие, воспаленные, ничего не видящие глаза. Черные от зноя и пыли губы были плотно сжаты. Сара Марковна отвернулась. Она понимала, что у каждого из них с избытком своего горя, чтобы думать еще и о чужом. Она не просила о помощи. И все-таки нашлись люди, которые на руках донесли ее, больную, изнемогшую, до ближайшей деревни, до первой избы.

— ...Своего горя полон дом, а тут чужое несут,— услышала она чей-то неприветливый голос.— Своих полна изба, а тут н<sup>а</sup> пожалуйте... Да кладите, кладите, чего уж тут! Ох-хо-хо!

Кто сказал эти слова, Сара Марковна не знала. У нее не было силы поднять тяжелые, точно сросшиеся воспаленные веки. Она очнулась только на другие сутки и с удивлением огляделась кругом, не понимая, где она, с ней.

Лежала она на лавке в просторной крестьянской избе. Яркие лучи полуденного солнца врывались сквозь сероватую зелень стоявших на окнах гераней. Потрескивая, топилась печь. Мушинный рой надрывно гудел над столом, на котором лежали ложки, хлеб и дымила, остывая, миска со щами,— к ней, должно быть, никто не притронулся.

Пожилая высокая костистая женщина, к подолу которой прижались трое ребят, со страхом смотрела из-за косяка на улицу: оттуда непрерывно неслись грохот и лязг, вой моторов и звуки чужой, непонятной речи.

— Детушки вы мои, что же с нами будет-то, что ж будет-то? Как же мы теперь?..— твердила женщина, глядя на улицу.

Еще не отдавая себе отчета в том, что же, собственно, случилось, Сара Марковна поняла: произошло что-то ужасное, и жалобно вскрикнула.

Женщина посмотрела на нее теми же сухими скорбными глазами, какими смотрели и беженцы.

— Ай очнулась? Эх, милая, лучше бы тебе...— Женщина не договорила и опять уставилась в окно, откуда волнами, то напрягаясь до того, что дрожали стены и звепели стекла, то удаляясь и утихая, выплескивался напряженный вой и лязг.

Сара Марковна сбросила лоскутное одеяло, которым ее укрыли, вскочила на ноги, но зашаталась и оперлась о стену.

— Я пойду, мне нельзя здесь... я пойду,— сказала она.

Хозяйка посмотрела на нее суровыми, жесткими глазами и только махнула рукой:

— Пойду... Куда тебе! Лежи... Чему быть, того не миновать.

Мгновенно в памяти Сары Марковны всплыли страшные рассказы беженцев о диких расправах гитлеровцев над евреями. О том, как в маленьком городке Себеже евреев созвали в местную синагогу якобы на регистрацию, приперли двери синагоги бревнами и зажгли старое деревянное здание. О том, как в городе Невеле семьи евреев загнали на узкую песчаную косу, глубоко вдававшуюся в озеро, и по косе той пустили танки, и как в тот день вода в озере, всегда славившаяся своей прозрачностью, стала бурой.

Нет, она не имеет права навлекать беду на эту случайно приютившую ее семью, не может, не должна здесь оставаться.

— Я пойду. Пустите, я пойду,— настойчиво твердила она, вставая.— Мне смерть не страшна, я свое прожила, я своих вырастила, а у вас вон трое, я не хочу, чтобы из-за меня гибли другие...

— ...И вы знаете, что она мне на это сказала, эта колхозница, Екатерина Федоровна Евстигнеева? — рассказывала старушка председателю райсовета, вытирая концом шали слезы, скатывавшиеся по ее морщинистым щекам.— Я прошу вас записать к себе в книжечку ее фамилию: «Екатерина Федоровна Евстигнеева из колхоза «Буденный». Нет, вы только послушайте, что она мне на это сказала. Она сказала, что я старая дура, да, да, да, старая дура, ни больше ни меньше, что я выжила из ума, если думаю, что она живого человека на растерзание зверюгам выбросит, чтобы самой шкуру спасти... Она сказала, что плохо, должно быть, меня Советская власть воспитала, если я смею о ней так думать. И велела лежать и молчать и не соваться со своими глупостями. Вот она что сказала, Екатерина Федоровна! А ведь у нее не было мужа, и было трое детей, и фашисты были не где-нибудь в Германии: они ехали на танках по улице за окном, и мы с ней слышали, как они хохочут у колдца, где они поили проклятые машины. Но это — еще не все. Вы голова района, вы должны знать своих людей, и вы имейте терпение, послушайте до конца, что было дальше.

По настоянию хозяйки дома, куда случайно занесли ее беженцы, Сара Марковна осталась в колхозе «Буденный», кото-

рый приказом фельдкоменданта, в чьем ведении находились села, лежавшие при трактах, был объявлен распущенным...

Хозяйка дала ей старое крестьянское платье, уложила ее на печке, а потом, посоветовавшись с соседками, придумала такую хитрость: немецким солдатам из комендатуры, которые наезжали рыскать по хатам и по крестьянским сундукам, разъясьпалось, что на печке лежит больная сыпным тифом. Мнительные немцы, боявшиеся заразы, не только оставили старушку в покое, но и вообще стали обходить избу Евстигнеевой.

Так прожила Сара Марковна до зимы, не выходя из избы. Когда в дни метелей оккупанты, совершенно не заботясь об остававшихся в домах детях, выгоняли все население на расчистку дорог, колхозницы сносили в хату Евстигнеевой своих малышей, а Сара Марковна нянчила их до возвращения родителей.

Женщины понемногу привыкли, даже привязались к ней и вместе с детьми, чтобы не упоминать ее имени, точно по уговору, стали называть ее «мамаша».

Но вот на воротах пожарного сарая появилось стандартное объявление комендатуры о том, что все евреи должны немедленно пройти регистрацию в ближайшем комендантском пункте. Тем, у кого евреи проживали, а также тем, кто знал, где они живут, приказывалось в суточный срок донести об этом туда же. В случае невыполнения этого приказа тем и другим угрожал расстрел.

Узнав о приказе, Сара Марковна решила идти на регистрацию. Не сказавши на этот раз хозяйке, она оделась, собрала свои вещички, но у порога наткнулась на колхозниц, с лопатами и мотыгами, возвращавшихся с дороги.

— Это куда же? — спросила Екатерина Федоровна, осматривая гостью с ног до головы.

Сара Марковна молча опустила глаза. Тогда кто-то из женщин догадался:

— Неужто на регистрацию? Дак, бабоньки милые, что ж она сама голову в петлю сует? Нешто не знаешь, как они с вашим людом в Торопце-то обошлись?

— Знаю, все знаю! — закричала Сара Марковна. — Пустите меня, я не хочу, чтобы из-за меня пропадали добрые люди.

— ...И вы знаете, что они мне ответили, эти женщины? — спросила старушка, вставая с кресла и взволнованно глядя в усталые глаза председателя, в которых теплились теперь ве-

сельские искорки. — Они сказали мне, что я сумасшедшая, они сказали мне, что я хочу осрамить их колхоз, они сказали, что ежели они со страху дадут этим живодерам надо мной надругаться, им нельзя будет в глаза глядеть мужьям, когда те вернутся с войны. И тут подошел к ним еще один крестьянин, они называли его дядя Миша, он тогда в деревне не жил, а был партизаном из отряда Чурилина, о котором даже в Совинформбюро сообщали — отряд товарища Ч. Он подошел, этот дядя Миша, и спросил: «Чего вы, бабы, галдите?» И они ему ответили: «Вот эта сумасшедшая хочет идти в комендатуру, боится нас подвести». И знаете, что им сказал этот самый дядя Миша? Нет, вы не знаете этого, вам даже не догадаться. Вы лучше послушайте меня, что он сказал. Он сказал мне: «Не трепыхайтесь, мамаша, и наплюйте на регистрацию. Либо, сказал, мы вместе перебедем, либо вместе помрем». Вот что он мне сказал тогда, дядя Миша. Вы запишите, пожалуйста, себе в книжечку и его имя. И думаете, что это все, товарищ председатель? Нет, это не все, и уж вы имейте терпение меня дослушать...

Забота о старой женщине стала делом всего этого формально распущенного, а на деле еще больше спяянного общей бедой колхоза.

По-прежнему жила Сара Марковна у Евстигнеевой. И хотя оккупанты повыкачали и пожрали почти все имевшиеся у жителей продовольственные запасы и, наловчившись, понемногу добирались и до тайных ям с припрятанным добром, хотя все уже в деревне жили впроголодь, — женщины считали своим долгом урвать от себя дорогой кусок и отнести общей питомице.

Хату Евстигнеевой, про которую говорили, что там лежит больная тифом, комендантские по-прежнему обходили. Все, казалось, шло хорошо, а Сара Марковна стала было уже верить, что с помощью новых друзей доживет она как-нибудь до счастливых времен, но тут-то и грянула беда.

В деревню приехал автомобиль с красным крестом. Переводчик спросил:

— Где больная тифом?

Растерявшиеся жители не знали, что сказать, и кто-то послал докторов к Евстигнеевой.

Но доктора в избу не пошли. Старый офицер в халате отдал приехавшим с ним санитарам распоряжение, те принялись обливать избу бензином.

Евстигнеева, думая, что это дезинфекция, молча стояла



у палисадника со своими детишками. Даже когда один из приезжих зажег пук соломы и бросил его на черные бензиновые потеки, она непонимающе посмотрела на него.

Пламя с ревом ударило по стенам, по драночной крыше, разом покрыв избу рыжей, огненной овчиной. Приезжие сели в машину и укатили. Тогда женщина с криком кинулась в дом, с запылавшей уже юбкой подоспела к печке, на которой пряталась гостья, и через коровник, задами вывела ее из ревущего костра...

— И вы знаете, что сказала эта женщина, потерявшая из-за меня свой дом и свое имущество, оставшаяся на улице вместе с тремя маленькими детьми? — спросила старушка у председателя. — Она сказала: человек дороже избы. Она сказала: были бы кости, а мясо нарастет. Она сказала: была бы Советская власть, будет и изба. А будет немецкая власть — не надо ей ни избы, ни самой жизни, пропадай все пропадом. Вот что она мне сказала, эта самая колхозница Екатерина Евстигнеева. Прошу вас это запомнить, вы должны знать своих людей.

— Я запомню, — пробасил председатель и, нагнувшись, что-то долго искал в ящике письменного стола, а когда он выпрямился, лицо его было немножко красным, точно вдруг он заболел насморком...

С того дня, как немцы сожгли хату, Екатерина Евстигнеева поселилась с детьми у сестры, а Сара Марковна, которую все звали «мамашей», кочевала из избы в избу, живя по очереди в каждой семье, как пастух в летнюю пору.

В январе каким-то образом фельдкомендатура пронюхала, что крестьяне скрывают еврейку. Приехали на машинах гестаповцы из самого Нелидова. На въездах в деревню поставили заслоны. Начался повальный обыск. Но пока ходили солдаты по избам, два подростка, Вася и Петя Чурилыны, дети того самого тозарища Чурилина, который был командиром отряда, вывели Сару Марковну задворками за околицу, отвели в соседнюю деревню и спрятали у своей тетки колхозницы, у которой жили и они, пока отец их партизанил в лесах.

Здесь без особых приключений прожила Сара Марковна до самого того момента, когда однажды послышалась над лесами канонада близкого танкового боя, когда неожиданно в дом колхозницы ввалились потные лыжники в сбитых на затылок

ушанках, в заиндевелых и грязных маскхалатах и хриплыми веселыми голосами на чистейшем русском языке попросили напиться...

В этот день Сара Марковна вернулась в колхоз «Буденный», вернулась, как к родным, прожила здесь, присматривая за детишками, до самого освобождения родного города, а тогда с попутной санитарной машиной ее отправили в Торонец.

Провожали ее, как родную, тепло одели, на дорогу напекли картошки и все наказывали «мамаше» не забывать их потом.

— Но разве их можно забыть, товарищ председатель? Разве можно забыть таких людей? Разве все это уйдет из памяти, даже если, не дай бог, проживешь сто лет? Они звали меня «мамашей», и, что вы думаете, я сейчас чувствую, что у меня не только три сына, которые сражаются сейчас на фронте, — пошли бог каждому хорошему человеку таких сыновей! — у меня сейчас много сыновей и дочерей там, в колхозе «Буденный», где меня называли «мамаша». И знаете что? Знаете, зачем я тряслась три дня по этим ужасным деревянным клавишам? — чтоб самому Гитлеру до самой смерти ездить по таким дорогам! — Я вам скажу, зачем я приехала: их надо обязательно наградить. Нет, вы, пожалуйста, не улыбайтесь. Вы думаете, они не заслужили ордена? Что вы на это скажете?

Председатель молчал. На его обветренном, бронзовом от еще не сошедшего партизанского загара лице с белой кожей на тех местах, с каких он сбрил усы и бороду, было несвойственное этому мужественному, грубоватому человеку растроганно-смущенное выражение.

— Заслуживают, мамаша, — сказал он наконец, — очень заслуживают, и не этого они еще заслуживают... Только беда-то вот в чем: ничего особенного они не сделали, нельзя же награждать людей только за то, что они советские люди...

За дощатой стенкой кабинета пронзительно зазвенел телефон. Кто-то взял трубку, и женский голос спросил:

— Вам кого? Председателя? Он занят. У него люди... Ах, из области? — И женский голос сказал громче: — Товарищ Чурилин, возьмите трубочку, вас область спрашивает.

И председатель прервал беседу и поднял трубку телефона.

**М**ы долго шли по северной окраине Сталинграда, то и дело отвечая тихо возникавшим на нашем пути часовым заветным словечком пароля. Пробирались изрытыми задворками, помятыми садами, карабкались через кирпичные баррикады, пролезали сквозь закоптелые развалины домов, в которых для безопасности передвижения были пробиты в стенах ходы, подвернув полы шинелей, стремглав пробегали улицы и открытые места.

Наконец лейтенант Шохенко зашел под прикрытие стены, перекинул ремень автомата с плеча на плечо и, переведя дух, сказал:

— Ось и дошли. Туточка. От-то у нас в дивизии хлопцы и клычут редут Таракуля.

Он показал бесформенную грудку битого кирпича и балок, возвышавшуюся на месте, где когда-то, судя по ее очертаниям, стоял небольшой приземистый особняк прочной купеческой стройки.

Происходило это в глухой час беспокойной фронтовой ночи, в ту минуту перед рассветом, когда даже тут, в Сталинграде, наставала тишина и холодный осколок луны серебрил седые облака низко осевшего тумана и выступавшие из него пустые коробики когда-то больших и красивых домов. Все кругом — и подрубленные снарядами телеграфные столбы с бессильно болтающимися кудрями оборванных проводов, и чудом уцелевшая на углу нарзанная будка, вкривь и вкось прошитая пулями, и камни руин — все солонисто сверкало, покрытое крупным седым инеем.

Мостовая была сплошь исковеркана и вспахана разрывами снарядов и мин. Целые россыпи стреляных гильз звенели под ногами то тут, то там. Просторные воронки авиабомб, заиндевелившие по краям, напоминали лунные кратеры. На ветвях израненного тополя чернели клочья чьей-то шинели. Все говорило о том, что место это совсем недавно было ареной долгой и яростной схватки и центром ее был совершенно разрушенный дом.

— Редут Таракуля,— повторил лейтенант Шохенко, которому, видимо, очень нравилось звучное название, и, нагнувшись, показав на прямоугольные отдушины в массивном, хорошо сохранившемся каменном фундаменте, пояснил: — А то амбразуры. Подывиться, jakый вэлыкий сэктор обстрила на обыдвиеулицы. От скризь ных и дэргалы воны наступ цилого нимэцького батальона. Вдох — батальон! Вдво-о-о-х!

В голосе лейтенанта, человека бывалого и, по-видимому, отнюдь не склонного к восторженности, слышалось настоящее восхищение, восхищение мастера и знатока. И мне живо вспомнилась во всех подробностях история этого дома-редута, слышанная мной в те дни в Сталинграде от разных людей,— удивительная история, в которой, как солнце в капле воды, отразились величие и трагизм битвы.

Бойцы-пулеметчики Юрко Таракуль и Михаил Начинкин, оба переплывшие со своим пулеметным взводом Волгу уже полтора месяца назад и, стало быть, имевшие право считать себя здешними ветеранами, получили приказ организовать пулеметные точки в этом особнячке, на перекрестках двух окраинных улиц. Особняк несколько выдавался перед нашими позициями и мог послужить хорошим, прочным авангардным дотом. Центр боя в те дни перекинулся западнее, к Тракторному заводу. Удара здесь не ждали, и сооружение пулеметных точек было лишь одной из мер военной предосторожности.

Получив приказ, Начинкин, спокойный, неторопливый, как и все металлисты по профессии, и маленький, подвижный, постоянно что-нибудь насвистывавший, напевавший, а то и приплясывавший при этом молдаванин Таракуль добрались до дома и обстоятельно его осмотрели. Им, давно оторванным от мирной жизни, позабывшим запах жилья, было радостно-грустно ходить по пустым, хорошо обставленным комнатам, слушая далеко отдававшееся эхо своих шагов, рассматривая уже забывавшиеся предметы мирного быта, по которым в свободную минуту всегда так тоскуется на войне. И хотя дом этот, очутившийся на передовой, был обречен на пожар или разрушение, они почему-то аккуратно вытерли о половичок ноги перед тем, как войти

в квартиру, и двигались осторожно, точно боясь запачкать полы, покрытые мохнатыми коврами пыли.

Для пулеметных гнезд они облюбовали угловые комнаты: отсюда из окон можно было легко следить за всем, что происходило на скрещивающихся улицах, ведущих к неприятельским позициям. Крайняя комната была когда-то столовой. Они вытащили из нее обеденный стол, диван, стулья, осторожно отодвинули в сторону звенящий посудой тяжелый буфет и принялись разбирать печь, чтобы кирпичом ее заложить окна и сделать в них амбразуры. Дело это было для них не новое, и работа спорилась.

Силач Начинкин, работавший до войны токарем на Минском машиностроительном заводе, старался не очень следить на паркетных полах и потому ходил на цыпочках, выламывая и огромными охапками поднося кирпич. Его напарник, насвистывая песенку, ловко укладывал в окне кирпичи «елочкой», чтобы прочнее держались.

Бой гремел поодаль. Хрустальная люстра, отзываясь на каждый выстрел, мелодично звенела подвесками. Звенела от глухих выстрелов посуда в буфете, да дверь слегка открывалась и закрывалась, когда где-то над передовой бомбардировщики опорожняли свои кассеты. Но все это нисколько не беспокоило бойцов, как не беспокоит горожанина лягз и скрежет трамвая под его окном, а сельского жителя — мычание коровы или стрекотание кузнечиков в траве его усадьбы.

Они делали свое дело, лишь изредка, по военной привычке, высовываясь из окон и осматриваясь. Мало разрушенные улицы были совершенно пустынные и точно вымерли.

Первая амбразура была уже готова. Установив в ней пулемет и подтащив ящики с патронами, солдаты принялись за вторую, в соседней комнате. Но, притащив очередную охапку кирпича, Начинкин вдруг увидел, что Таракуль не работает, а прильнул к пулеметному прицелу и, весь напрягшись, смотрит через него на улицу. «Немцы!» — догадался Начинкин. Он осторожно положил кирпич на пол и выглянул из-за незаконченной кладки во втором окне.

Пятеро солдат с автоматами, озираясь и прижимаясь к стене, крались вдоль улицы по направлению к особняку. Начинкин схватил было стоявшую в углу винтовку, но Таракуль вырвал ее у него из рук.

— Не спугивай: разведка. За ними еще будут. Подпустим, а потом сразу... — шепотом сказал он и прикип к пулемету.

Начинкин, стараясь ступать как можно неслышней и даже

сдерживая участвовавшее дыхание, быстро установил свой пулемет в незакопченной амбразуре соседней комнаты и стопкой положил заряженные диски.

Наверное, в любой другой точке гигантского фронта, очутившись в такой обстановке, двое солдат, оторванные от своей части, немедленно отошли бы на свои позиции, тем более что никто не приказывал им защищать этот дом. Но дело было в Сталинграде, в разгар великой битвы, и этим двоим как-то даже в голову не пришло отступить перед опасностью. Они легли у пулеметов, подщелкнули диски и стали наблюдать.

Не дойдя до угла, немцы посовещались, осмотрели перекресток. Один из них тихонько свистнул и махнул рукой. На улице показались автоматчики — человек тридцать. Так же крадучись, они подошли к перекрестку и стали, пластаясь, вдоль стены. Со стороны дома они представляли удобную мишень. Пулеметчики слышали, как шуршит битая штукатурка под ногами врагов, как раздаются чужие, звучащие почему-то зловеще слова непонятной речи. Вот немцы снова выслали вперед разведчиков.

Две резкие очереди распороли воздух. Потом еще две. Несколько немцев упало, остальные побежали, не понимая, откуда стреляют. Отбежав, они остановились и тут точно растаяли в развалинах.

— Есть! — победно крикнул Таракуль, сверкая желтыми белками горячих цыганских глаз.

В припадке радости он даже вскочил и отбил по паркету лихую чечетку. Начинкин только покачал головой и молча показал ему на остов большого каменного дома напротив, отлично видневшийся сквозь амбразуру. Нетрудно было различить в темных провалах окон осторожно суетившиеся фигуры. Вскоре, одновременно с двух улиц, к перекрестку мелкими перебежками, прижимаясь к подворотням, к воронкам, скрываясь за телеграфными столбами, хлынули чужие солдаты. Они подходили к дому сразу с двух сторон.

Таракуль оторопел. Их было много, и, что особенно ему показалось тогда жутким, они были не только перед ним, как он привык их видеть тут, в боях в городе. Они были с боков, заходили сзади. Первое, что захотелось сделать бойцу, — это бежать, бежать скорее, бежать к своим; пока еще не поздно, вырваться из этого суживающегося полукольца, спастись и спасти свое оружие. Но он увидел, что его напарник деловито переносит пулемет в соседнюю комнату, и понял, что тот хочет прикрыть фланг. Спокойный поступок товарища сразу привел его в себя.

Преодолевая охвативший его инстинктивный страх, Тара-

куль припал к пулеметному прицелу и стал короткими очередями выбивать перебегавших по улице немцев. Те, что засели напротив, открыли стрельбу. Но за кирпичной кладкой Таракуль чувствовал себя неуязвимым. И оттого, что автоматные пули, поднимая известковые облачка и рикошета со злым визгом, не приносили ему вреда, страх его прошел и, как это бывает в острые моменты на фронте, сменился чувством уверенности, даже спокойной радости, когда немцы — много немцев там, на улице, — побежали назад, перепрыгивая через убитых, не обращая внимания на раненых; побежали, подгоняемые паникой, преследуемые огнем его пулемета. Теперь Таракуль уже хладнокровно бил им вслед. И всякий раз, когда серая фигурка, словно споткнувшись, падала на землю, он выкрикивал:

— Есть!

А в соседней комнате работал — именно работал — пулемет Начинкина. Бывший токарь, верный своему непоколебимому хладнокровию, умел даже в острое боевое дело вносить элемент расчета. Он стрелял очень экономно, очередями патронов по пять, и то только тогда, когда в прицеле мельтешило несколько фигурок. Он первым отбил атаку на своей улице. С винтовкой пришел он на помощь товарищу и, устроившись у его амбразуры, так же тщательно прицеливаясь, начал бить по тем, кто сидел в доме напротив. Оттуда отвечали залпами из автоматов. Они били по верху незаложенного окна. Комната наполнилась визгом пуль и известковой пылью. Пулеметчики прилегли на пол. Потом стрельба стихла.

— Ну, действуй тут, — сказал Начинкин и пополз к своему пулемету.

Когда атака была отбита и настала тишина, Таракуль в свою очередь навестил приятеля. Теперь он осознал свою силу и от избытка этой силы, желая чем-то выразить радость, расправившую его грудь, звонко хлопнул Начинкина по спине. Тот сердито отбросил его руку. Он свертывал сигарку, и Таракуль заметил, что человек этот, который еще недавно подбодрил его своей деловитостью, хладнокровием, сейчас бледен, и пальцы у него дрожат, табак сыплется на колени.

— Видал! Видал, как они!.. Как мы их!

— Чего ты радуешься? Думаешь, они бежали — и все?.. Еще придут... — И вдруг спросил: — А ты женатый? Дети есть?

— Холостой, — отвечал Таракуль, не расслышав даже как следует вопроса. — Как они драпанули!

— А я женатый... четверо у меня ребятишек-то... Ну, чего здесь сидишь? Давай, давай к пулемету!

И они снова расползлись по комнатам, каждый к своей амбразуре.

Слова Начинкина сбылись. Действительно, бой только начинался. Через час неприятель предпринял еще одну вылазку, потом две короткие, напористые — одну за другой. Пулеметчики вылазки отбили. Они действовали все сноровистее, и мысль продержаться вдвоем до того, пока на завязавшуюся перестрелку подоспеют подкрепления, не покидала их. Позиция у них была удобная, с положением своим они освоились, если вообще человек может освоиться с таким положением. Все больше и больше серых фигур, похожих на брошенные кем-то узлы старой одежды, оставались лежать в нейтральной полосе, на пустынной мостовой, поросшей травкой, прибитой утренниками.

Тогда немцы подтянули минометы. Из сада напротив они стали бить по дому, и били минут двадцать. С десятков мелких мин разорвалось в верхнем этаже. Все в доме было разрушено, переверочено, расщеплено, перемешано с обломками штукатурки. Но когда немцы снова бросились в атаку, опять четко заработали два пулемета, и две смертоносные завесы преградили им путь. Пулеметчики переждали обстрел в узенькой ванной комнате и, как только разрывы смолкли, через развалины подползли к своим амбразурам.

Трудно сказать, что думал о них неприятель. Померещилось ли ему, что они имеют дело с целым гарнизоном, или что наткнулись на замаскированный дот, или просто упорство этих людей сломало его паступательный дух, — трудно сказать. Но он отказался от попыток прорваться к дому атакой. Подвезли три орудия и стали обстреливать дом прямой наводкой.

После каждого выстрела Таракуль кричал приятелю в соседнюю комнату:

— Я жив, а ты?

И тот спокойно и брюзгливо, словно отмахиваясь от комара, отвечал:

— А мне что сделается!

Но после одного, особенно гулко разрыва, встряхнувшего весь дом и наполнившего его душным облаком известковой пыли, Начинкин не ответил товарищу. Таракуль бросился к нему. Среди обломков мебели, штукатурки, кирпича, разбросав раненые ноги, лежал грузный пулеметчик. Он пытался подняться, но не мог и все падал назад, широко раскрыв рот, точно давясь воздухом.

— Ранен, — сквозь зубы процедил он.

«Что же делать?» — пронеслось в мозгу Таракуля. Выходит,

он остался один. Бежать? А тот, раненый? А пулеметы? Да и как убежишь с этаким верзилой на плечах?! Мозг работал быстро, точно, как всегда в такие минуты. В следующее мгновение Таракуль уже волочил друга вниз, в подвал, куда они еще вначале снесли ящики с патронами, как выразился хозяйственный Начинкин, — «на всякий случай». Сюда же перетащил Таракуль пулеметы, диски. Он установил их в том же порядке, как и наверху, высунав стволы в прямоугольники отдушин.

Сектор обстрела у них теперь стал меньше, но зато массивные своды старинного купеческого подвала надежно прикрывали их. Когда все было сделано, Таракуль почувствовал страшную усталость. Он лег на пол и некоторое время лежал неподвижно, прижимаясь разгоряченным лбом к холодному камню.

В это время раздались глухие взрывы, от которых все здание подпрыгнуло, и страшный треск над головой. Это рванула серия авиабомб. Немцами были вызваны на помощь пикировщики, и взрывная волна обрушила дом. Груды кирпича, щебня завалили подполье, но массивные своды подвала выдержали.

Таракуль и его раненый товарищ остались живы, оглушенные, контуженные, погребенные под обломками, отрезанные от мира. Придя в себя, Таракуль осмотрелся и обошел подвал.

— Могила, — сказал он глухо, обращаясь к товарищу, с закрытыми глазами лежавшему у стенки.

Начинкин открыл глаза.

— Дот, — просто ответил он, посмотрел на одну амбразуру, на другую и добавил: — Да еще какой дот-то, только вот гарнизон маловат.

При всей безвыходности положения, в котором они очутились, у них теперь было одно преимущество: они могли не опасаться нападения с тыла. Груда развалин надежно закрывала их от снарядов. Разве только прямое попадание авиабомбы грозило им. А кто из бывалых солдат боится прямого попадания!

Юркá Таракуля обуяла жажда деятельности. Он лучше установил пулеметы в амбразурах, поставил под них ящики, чтобы можно было сидеть. Ящик с патронами волоком подтащил к раненому товарищу, который вызвался заряжать диски. Сам же Таракуль, бегая от одной амбразуры к другой, следил за тем, что делается на улице.

Должно быть, сильно поразили они немцев своим упорством. Еще долго после того, как дом был разбит авиацией, не решались они к нему приблизиться. Когда же наконец снова поднялись в атаку, их встретил огонь все тех же пулеметов, упрямо бивших теперь откуда-то из-под развалин...

Стреляли Таракуль и его раненый товарищ. Но раненый, хотя и слыл в роте человеком железным, быстро слабел и, лишаясь сознания, бессильно падал у амбразуры. Тогда Таракуль бежал от одного пулемета к другому и простреливал обе улицы. В сыром подвале ему стало жарко. Он сбросил шинель, потом гимнастерку, потом рубашку и, по пояс голый, с черным от пороховой гари и пыли, изможденным лицом, на котором по-пегритянски сверкали глаза и зубы, с мокрыми кудрями, сваливавшимися в комья, отстреливался бешено и самозабвенно, пока Начинкин приходил в себя и, карабкаясь по стене, поднимался к пулемету.

Два дня мерились так силами два советских бойца, похороненные под развалинами, и целая немецкая часть, снова и снова пытавшаяся наступать на бесформенную грудку кирпича и штукатурки, превращенную солдатской волей в крепостной бастион. Овладение этими развалинами стало для немцев делом престижа.

Все труднее и труднее было гарнизону дома. Уже больше суток прошло с тех пор, как был по-братски разделен последний сухарь, отыскавшийся в вещевом мешке запасливого Начинкина. Не было воды. По ночам они слизывали языком иней, оседавший на камнях подвала. Давно была докурена последняя щепотка табаку, вытряхнутая из уголков карманов. И, что всего хуже, на исходе были патроны.

— Вызовут танки, вот тогда плохо будет, — сказал Начинкин, когда они, вскрыв цинку с патронами, снова набивали опустевшие диски.

Начинкин был совсем слаб, и тугая пружина дискового механизма все время выскальзывала из его рук.

— Что ж, пропадать — так с музыкой! — ответил Таракуль, сверкая желтыми белками.

Он тоже слабел от голода и недосыпания, но еще держался и только иногда, чтобы экономить энергию в слабевшем теле, на целые часы замирал, точно каменел, у амбразур так, что в эти минуты казалось: живут у него только глаза и уши.

— У тебя в голове все музыка. Не с музыкой, а с толком. Что без толку-то шуметь, кому она нужна, такая музыка! Жизнь-то человеку, чай, одна отпущена!

Начинкин не переставал трудиться над зарядкой дисков. Иногда, в горячую минуту, он даже ухитрялся с помощью друга подниматься к пулемету, садиться на ящик и стрелять. Но мысль о смерти все чаще и чаще приходила ему на ум. И ему хотелось сказать товарищу, этому молодому молдавскому вино-

градарию, с которым судьба свела его, что-то такое большое, значительное, мудрое, что созревает в такие часы в его душе и что никак, ну никак не хотело укладываться в слова.

— Человек не должен умереть, пока он не сделал все, понимаешь? Все, что мог... Все,— сказал он наконец, мучаясь нехваткой слов и опасаясь, что друг не поймет его.

Он заставил Юрка затвердить адрес его семьи и фамилию доброго знакомого, директора того завода, на котором он работал перед войной. Он взял с бойца слово, что, ежели тот выживет и вернется с войны, обязательно разыщет его семью и расскажет жене об этих вот часах, что найдет он и директора и поведает ему о том, как погиб в Сталинграде минский токарь.

С этим директором у Начинкина были какие-то сложные отношения. Они были когда-то чуть ли не друзьями, но в первые дни войны, когда завод эвакуировался на восток, токарь отказался ехать с заводом. Он заявил, что останется и будет защищать город. Вот тут-то директор и сказал ему что-то такое обидное, чего Начинкин никак не мог простить. Повесть очевидца о том, как сражался солдат Начинкин, должна была посрамить директора и опровергнуть его обидные слова.

Но — как истые бойцы — о смерти они между собой не говорили, даже слова этого избегали, и все больше гадали о том, когда и откуда ждать им выручки.

А в выручку они верили, несмотря ни на что.

И действительно, теперь, когда из-за нехватки патронов слабели во время атак голоса их пулеметов, сзади дружно бухали минометы, и черный густой забор частых разрывов вырастал перед домом, преграждая врагу путь к нему.

Голодные, изнывающие от жажды, совершенно измотанные бессонницей, они слушали этот близкий и грубый гром, как голос друзей, обещавший поддержку. Он, этот грохот, точно связывал их со своими, от которых бойцов отделяла гора навалившегося щебня и десятки метров смертоносного пространства ничейной земли.

На третью ночь, под самое утро, случилось диковинное. Таракулю, дремавшему с открытыми глазами у амбразуры, послышался вдруг странный человеческий голос. Подумав, что бредит, он приложил лоб к холодному, заиндевевшему камню, слизнул иней, отдававший плесенью. Нет, это не обман слуха: голос действительно звучал. Юрко взглянул на товарища. Начинкин спал, держа в одной руке диск, в другой — горстку патронов.

Нет, говорил не он. Картонный, какой-то нечеловеческий



голос упрямо долдонил знакомые русские и вместе с тем малопонятные чужие слова: что-то о хлебе, мясе, масле. Таракулю стало страшно. Он растолкал спящего товарища. Начинкин прислушался. Тень улыбки коснулась его почерневших, запавших губ.

— Фрицы! Это они нам кричат, нас с тобой агитируют.

— Стафайтесь... Фам путет карошо опращение... Фам путет отшень карошо кушайт! — выкрикивал картонный голос из предрасветной тьмы.

— Куском хлеба купить хотят! И где? В этом городе... Дубье! — тихо сказал Начинкин. — Гляди, что фашизм с человеком сделал. Выше своего брюха уже и подняться не может. А ведь людьми были, дизель изобрели.

Когда отхлынул страх непонятного, Таракуль почувствовал прилив неудержимого бешенства. Он прилег к пулемету и пустил на голос длинейшую очередь. Он стрелял, пока не выскочил на каменный пол и не прозвенел в наступившей тишине последний патрон.

Вспоминая потом о днях этого невиданного поединка, Юрко Таракуль никак не мог точно сказать, сколько времени они обороняли дом. О последнем дне он вообще ничего не мог вспомнить, кроме того, что стрелял из обоих пулеметов, не видя перед собой ничего, кроме перекрещивающихся улиц, не думая ни о чем, кроме того, что нужно во что бы то ни стало удержаться. Только эта мысль отчетливо отпечаталась в его затуманенном от голода и усталости сознании.

Они держались до тех пор, пока где-то вдали не услышали сквозь частую стрельбу «ура», которое приближалось и нарастало, пока по обломкам тротуара не застучали тяжелые шаги наступавшей пехоты и в амбразурах отдушин не замелькали родные песочного цвета шинели и неуклюжие милые кирзовые сапоги.

Тогда он бросил пулемет, стал трясти совсем ослабевшего друга; кричал ему только одно слово:

— Наши, наши, наши!

Свежий, подтянутый из резерва полк, ночью переправившийся через Волгу, отжал тут немцев, очистил перекресток. Бойцы из взвода лейтенанта Шохенко подбежали к развалинам.

Из амбразур до них донеслись слабые голоса товарищей. Но пришлось вызвать саперов, долго разгребать и даже подрывать камни, чтобы извлечь Начинкина и Таракуля. Кто-то, кажется саперный начальник, руководивший этими раскопками, шутя

назвал развалины особняка редутот Таракуля. С легкой руки название это так и прижилось, попало в печать, было перенесено на военные планы...

...И вот наконец собственными глазами удалось мне осмотреть это необыкновенное место. Мы засветили фонарики и сквозь пробитую саперами брешь спустились в подвал. Синеватый свет луны сверкающими косыми брусками просачивался в амбразуры и белыми пятнами расплывался по полу среди густой россыпи стреляных, уже позеленевших гильз. В углу валялись окровавленные бинты. Тут, должно быть, лежал Михаил Начинкин. Сквозь амбразуры отчетливо виднелись на аспидно-черном фоне неба посеребренные инеем обломки стен, напоминавшие театральные декорации. Над ними остро и холодно сверкали звезды, тяжело и низко покачивалось над землей зарево пожара.

Когда глаз привык к полутьме подвала, можно было различить надпись, сделанную на серой, покрытой крупитчатым инеем стене. Лейтенант осветил ее фонариком. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть», — прочел я.

— Цэ наш комиссар напысав, — сказал лейтенант; он прочел вслух: — «Выстояв, они победили смерть».

— Страшно, наверное, было в такую вот ночь перед лицом врага совершенно одним?

— Страшно? Нэ тэ слово. Такэ слово тут мы забулы... От одыноко — да, — сказал Шохенко, — одыноко — то погано, дужэ погано на вийни. А що до страху, такого слова в цим мисти нэмае.

И мне захотелось для тех, кто много поколений спустя будет изучать эпопею обороны города, где было позабыто слово «страх», как можно подробнее записать историю этого обычного сталинградского дома, записать такой, какой я слышал ее от Таракуля и его боевых друзей.

*1943 г.*

**Н**а вид этой девушке можно дать лет девятнадцать. Была она тоненькая и легкая. Смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости, а глаза, широко распахнутые, большие, ясные, опущенные длинными ресницами, смотрели так весело и удивленно, как будто спрашивали: «Нет, в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо или мне это кажется?»

И лишь мудреная высокая прическа, в которую были собраны обильные темно-каштановые волосы, как-то портила этот светлый облик, точно фальшивая нота чистую, хорошую песню.

Одета она была в цветастое платье, золотая цепочка обвивала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая юная головка.

Должно быть, сама поняв, что очень уж выделяется среди людей в выгоревших, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, покрытых темным походным загаром, она набросила на плечи чью-то большую шинель и, несмотря на жару тихого и душного августовского вечера, так и сидела в ней на завалинке чистенькой беленой украинской хатки.

Ее глаза с необыкновенной жадностью следили за жизнью обычной штабной, ничем не примечательной деревеньки. С одинаково ласковым вниманием останавливались они и на ржавых, промасленных комбинезонах шоферов, рывшихся в тени вишняка в моторе опрокинутого вездеходика; и на военном почтаре в сбитой на ухо пилотке, с пузатой сумкой через плечо, что

прошел мимо нее с тем же торжественно значительным видом, с каким ходят только военные почтари, неся большую порцию свежей корреспонденции; и на начальнике разведки, тучном, но туго перетянutom ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный своими думами; и на бойцах штабной охраны, сидевших за хаткой в пыльной мураве и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому.

— Я, как изголодавшаяся, гляжу, гляжу — и не могу наглядеться. Нет, вам этого чувства не понять. Это понятно только тем, кому приходится надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окукаться в этот чужой, паучий мир! — сказала она низким грудным голосом.

Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она гадливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью.

Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это та самая безыменная героиня, которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию своевременно разгадывать намерения противника. Разведчики — народ замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал.

У нее было условное имя: Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действительно походила на молодую белую стройную гибкую березку — из тех, что трепещут всеми листочками при малейшем порыве ветра. И ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости, этих необходимых качеств человека ее профессии. Вероятно, это-то и обеспечивало неизменный успех, сопутствовавший Березе при выполнении ею самых сложных заданий.

Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию.

Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, училась музыке, пению, с детства одинаково чисто говорила на украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она уже заканчивала университет. Увлекалась филологией, западной литературой времен Ренессанса и даже

опубликовала под псевдонимом в одном из академических изданий работу о драматургии Расина — работу полемическую, интересную, обратившую на себя внимание в научных кругах.

Вопреки воле родителей, в начале войны она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Она решила ехать на фронт. Но кончить курсы не удалось: враг подошел к ее городу, а окраины его стали фронтом. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакоприемнике. Враг окружал город. Был дан приказ об эвакуации. Родители настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними.

— Есть старая истина: кому много дано, с того много и спрашивается, — убеждал ее отец. — Сбирать раненых может каждая девушка, а на твоё обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу.

Девушка знала, что отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощанье обижать стариков, и она мягко сказала:

— Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дома Советов переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости.

В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. Да, она знает языки и наверное может принести родине на войне большую пользу, чем ухаживать за ранеными. С этой мыслью она пошла в районный комитет партии.

Это были последние часы перед эвакуацией города. Усталые, до смерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Сердито звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут у нее, обычно робкой и деликатной среди чужих, впервые проявился ее характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув с дороги, она пробилась в кабинет секретаря райкома, назвала званием довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание.

— Что, что? Вы дочь профессора Н.? Почему не уехали? — сказал секретарь райкома, с трудом отрываясь от тяжелых эвакуационных забот, и внимательно просмотрел ее документы.

Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее:

— Вы знаете немецкий?

— Как свой украинский.

Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигуру, ее лицо, в котором было так много детского.

— Задание может быть очень сложным и, прямо скажу, опасным.

— Я согласна.

Он попросил всех выйти, взял трубку полевого телефона, стоявшего у него на столе, назвал какой-то номер.

— Вы слушаете? Это я, у меня нашлась подходящая кандидатура,— обратился он к кому-то.— Да, немецкий, отлично. Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замечательные, преданные люди. Сейчас ее к вам пришлю. Предупреждал и предупрежу еще.— Он положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием, посмотрел ей прямо в глаза: — Хорошо, свяжу вас с одним товарищем, который остается здесь для подпольной работы. Но вы, наверное, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью.

— Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила,— сказала девушка.

И вот дочь ученого осталась в городе, оккупированном неприятелем. В немецкую комендатуру донесли, что ее забыли при эвакуации.

Она была не единственной, оставленной в городе для подпольной работы, но именно ей поручили самое сложное, самое опасное задание. Иные должны были следить за оккупантами и предателями, иные получили задание взрывать склады, портить паровозы, иные охотились за фашистскими чиновниками. Береза, по заданию подпольного комитета, должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то чуждых ей идей с комфортом, бросить все и ехать в неизвестность на восток. В огромной квартире профессора поселился немецкий полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам она играла на рояле Вагнера, читала по-немецки стихи Гёте. Полковник ввел ее в круг своих друзей — штабных офицеров, собиравшихся у него, познакомил с начальником — генералом.

Украинская фрейлейн имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то украинских магнатов, она выгодно отличалась от вульгарных, крикливых, жирных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей уго-

ждать, и никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, «потомок магнатов», дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик, уличную сумку и книжку фюрера «Майн кампф», подаренную ей полковником с его собственноручной надписью.

А она шла в окраинную слободку, расположенную за рекой, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их па верстак, заваленный сапожным хламом, и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого старика «сапожника» слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в чистенькой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась собой — советской девушкой, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей.

— Как мне тошно! Если бы вы знали, дядько Левко, как мне омерзительно жить среди них, слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять, — нет, не расстрелять, повесить!

«Сапожник», старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, успокаивал ее как мог. Потом в задней каморке они составляли донесение обо всем, что она видела и слышала. Пили «чай» из липового цвета с сахарином, ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила истосковавшаяся душа. А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднималась в город, беззаботно напевая немецкую песенку «Лили Марлен», сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, всегда молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии.

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать истинные чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить ей любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о налетах на вражеские транспорты, о поджогах, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные подпольщики. Но в эти дни в городе обосновался штаб военной группы. Ее глаза и

уши стали даже нужнее, чем прежде, и «сапожник» направлял ее обратно.

Наконец штаб выехал. «Сапожник» сказал, что еще денек-два — и она сможет исчезнуть. Но тут пришла беда. Ее квартирант, полковник, был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она влепила ему пощечину. Он только расхохотался, поцеловал ей руку и подставил другую щеку. Нет, эти чудесные маленькие ручки не могут оскорбить немецкого генерала! Да, да, он покори́л шесть стран, он воюет теперь в седьмой! И она — его лучший приз за годы войны! Он предлагал ей руку и сердце.

Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях, хватал ее за платье. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что Советская власть агонизирует, что бон идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, дадут богатые поместья, и она будет его женой, — хо-хо, женой немецкого помещика! И все крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там такое болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле. Пьяный фашист оскорбил ее народ — и девушка не выдержала, воля изменила ей: она выхватила у него из ножен кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнула его в горло новопеченного генерала.

Вся городская военная и штатская полиция, вся жандармерия и приехавшие в город специальные войска СС в течение месяца искали ее, перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась: она благополучно перешла фронт.

Очутившись среди своих, она стала настойчиво и упорно учиться всему тому, что могло ей помочь в ее сложной и опасной работе для родины.

След дочери профессора, убившей немецкого генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрну Вейнер. Судьба фрейлейн Вейнер вызвала живое сочувствие коменданта, последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого, помимо общефашистских поводов, были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь немецкого колониста, жившего на Одессине. Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни батраков,

скупал через контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал детям образование. Потом он был арестован за симпатии к новой Германии, которые он, как человек прямой, не умел и не хотел скрывать...

Фрейлейн Эрна, потерпевшая от большевиков, скоро стала главной переводчицей в комендатуре, а затем ее перевели к самому начальнику гарнизона.

Новый шеф, бригаденфюрер войск СС, тоже сочувствовал бедной фрейлейн. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старые баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным палачам, игра на рояле стяжали ей уйму поклонников. «Да, старый Иоганн Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование!» — удивлялись они. И когда немцы обнаруживали вдруг пропажу важных документов или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрения не ложилась на Эрну Вейнер.

Но какой ценой девушка вырывала для родины эти фашистские тайны! Она присутствовала теперь на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей, и она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к родине — любовь всеобъемлющая, безмерная — давала ей силы для этой работы. Но лишь связной — суровый воин, безвыходно сидевший с рацией в подвале разрушенного дома, человек, совершенно разбитый ревматизмом, — кому она приносила сведения, слышал от нее жалобы.

Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот утешал ее как мог неуклюжим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его спокойное мужество поддерживало девушку.

И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание. О нем она рассказывала сама, сидя на завалинке хатки в погожий августовский вечер:

— Вы знаете, конечно, как они нервничали, когда войска Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было! Муравейник, в который сунули головешку! Солдаты ничего — это, в сущности, храбрые и не такие уж плохие люди. Но посмотрели бы вы на их заправил!

Они, забыв о соблюдении внешних приличий, упаковывали картины, музейные вещи, редкости, мебель — все, что они награбили и натащили. Все это посылалось в тыл на глазах у солдат. А слухи! Это был не штаб, а базар какой-то, на котором передавались слухи, один невероятнее другого. Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетели какие-то новые огромные авиационные части. Десятки тысяч машин невиданных марок! Какое-то чудовищное вооружение. Все офицеры бегали почевать в подвалы. Даже мне было удивительно, какими в трудную минуту они оказались малодушными, трусливыми, мелкими. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом:

— Господин начальник, неужели все погибло? Ведь они меня убьют!..

Я видела, как он бледнел. Но он еще петушился:

— Что вы, фрейлейн, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия.

Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею удрать в его автомобиле.

И вот однажды ночью меня будят, вызывают к нему в кабинет. Он взволнован, сияет. Поясняет: будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, все время державшие немцев в постоянном страхе и напряжении, особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из них. Шеф носился из угла в угол. В кабинете шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?

— Приехал какой-нибудь господин из армии? — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.

— А, чепуха, стал бы я тратить на этих чинодралов из армии! — ответил шеф. — Гораздо важнее, гораздо интереснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты.

Я решила, что захватили кого-то из наших больших военных. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем в комнату внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали бы-

ло у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напаялив себе на лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он тоже летчик и рад приветствовать здесь храброго русского коллегу — судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притвориться приветливым, даже простодушным, этот майор, один из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я то уж их повидала!

А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке, к которой привинчены три ордена Красного Знамени и еще какие-то отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд... простите... минуточку...

Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены. Она тяжело дышала, кусала губу, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:

— Нервы... Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.

— Фрейлейн, переведите, пожалуйста, коллеге, что безоружный противник — для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества и воинской чести интернациональны. Переведите, что в качестве, э-э-э, помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал... э-э-э — нет, это будет не по-русски... чашу доброго вина.

Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти — нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, гадливости, что слезы обиды против воли чуть было не выступили у меня на глазах.

— Ничего я ему не скажу. Впрочем, пусть даст папиросу.

Майор засиял, вскочил и протянул ему портсигар. Летчик приподнялся на локте, взял папиросу и жадно закурил. Они оба молчали, я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и учтиво заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь...

— Пусть меня унесут, — ответил летчик и отвернулся.

И сколько майор ни бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, как

он играет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда... я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался; он приказал унести пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился страшными ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел шеф, меня отпустили и отвезли домой.

В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой: этот летчик... его глаза смотрели на меня, и в ушах звучал его звонкий, молодой и твердый голос.

Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сидел в ней.

— Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда. Фрейлейн, вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему что хотите, только вытащите из него что сумеете. Вас озолотят! Слово чести, вы заслужите Железный крест.

Я никогда еще не видела этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что даже проболтался, что из ставки послан авиационный генерал. И только для того, чтобы получить эти сведения... У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было нужно для дела. Необходимо было предупредить его. Но я вспомнила этот его взгляд, и мне, ко многому за эти страшные месяцы привыкшей, было страшно войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!

Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за мной, даже подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я приблизилась к нему.

— Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач? — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.

— У них ничего не вышло, так теперь натравливают на меня немецкую овчарку, — недобро усмехнулся он и упрямо добавил: — Тоже не выйдет.

Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.

Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослабел за эту ночь, но продолжал так же твердо и жестко:

— Чего же краснеешь? Продажные шкуры не должны краснеть! Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут.

Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут же перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.

А он продолжал, все повышая голос:

— Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Договорим! В самом Берлине, сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!

И он захохотал. Нет, не нервно — у него, должно быть, вовсе не было нервов, — он захохотал злорадно, торжествуя, как будто он победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу, а не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке.

И тогда я бросилась к нему и зашентала, позабыв всякую осторожность:

— Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек.

Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.

— Так, — удивленно произнес он и повторил: — Та-а-ак! — Глаза у него, как мне показалось, подобрели, но смотрели зорко, изучающе. — Та-ак, бывает. — Он усмехнулся, но уже не зло; и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу! Ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!

Он долго кричал на всю тюрьму. Потом тихо спросил:

— Так вы...

Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы мои выбивали дробь.

— Ну, успокойтесь, — произнес наконец он, — и говорите только честно: мне конец?

— Если будете молчать — расстреляют.

Мы опять испытующе посмотрели друг на друга.

— Жаль, мало я пожил... А как хочется жить!.. Ну, ступайте отсюда.

— Не надо ли что передать туда?

— У вас очень измученные глаза, я вам почти верю, —



задумчиво ответил он. — Почти. И все-таки... ничего я вам не скажу. Не надо... Так лучше и вам и мне... и прощайте, вы, девушка... — Он вздохнул и опять принялся громко поносить меня, так, чтобы это было слышно в коридоре.

Меня душили слезы. Такой человек! Такой человек! И ничем ему не поможешь... Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору, он, вероятно, подслушивал нас, но по лицу я увидела, что он ничего не понял, кроме этих ругательных слов. Я еле держалась на ногах. Мне было все равно. Майор, бледный от злости, играл скулами.

— Не плачьте, фрейлейн, вы на службе. Как только он перестанет быть нам пужным... — Он не договорил.

Я не помню, как вышла из тюрьмы.

Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были теперь совсем расшатаны. Ее бил озноб, нижняя челюсть дрожала, лицо передергивал нервный тик. Она долго молчала.

— Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Я обязана досказать. Это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека...

После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Я призывала всю свою волю, тренировку, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распуститься при них, при этих, — и все-таки я не смогла и, когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму, они поняли это по-своему и принялись меня утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость.

Но самое страшное ждало меня впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе? И обо мне? Я не повичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый генерал авиации, какой-то их «национальный герой», любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Это был высокий самоуверенный человек с румяным, каким-то фарфоровым лицом и бесцветными поросычьими ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождали мой шеф, майор и я. Он сразу подошел к летчику, назвал ему довольно громкую фамилию и протянул ему руку. Тот отвернулся и ничего не ответил.

— Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, ге-

рой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших.

Я перевела эту фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью!

— Что вы понимаете о чести? — усмехнувшись, ответил летчик.

Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил:

— Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я сейчас же прикажу все сделать. Герой остается героем в любых обстоятельствах.

— Спросите, что ему нужно, — устало ответил летчик.

Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания, и только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему.

Генерал явно терял самообладание.

— Скажите ему, черт подери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов — Ницца, Баден-Баден, Бадвильдунген, Карлсбад... Об упрямстве его тоже никто не узнает: могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов.

Я перевела.

Летчик деланно засмеялся:

— Переведите генералу, что он — достойный выкормыш своего фюрера.

Не найдя в немецком языке слова «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и напыщенно произнес:

— Это так, лейтенант правильно отметил, для меня фюрер — недостижимый образец. — И добавил, что теперь несомненно они найдут общий язык — два солдата, два героя. И он спросил: — Пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее многих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают безнадежную борьбу, навлекая на себя репрессии и кары, почему предпочи-

тают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война проиграна. Почему?

Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на все условия. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом и перед майором, которых считал посрамленными.

Я сейчас же перевела летчику вопрос.

— Балда! — отчеканил он. — Потому что мы — советские люди, не им чета.

Если бы вы видели его в эту минуту! Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные оттого, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.

Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес поговорку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант глупое, тупое животное, что он черной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход.

— Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными, — ответил лейтенант.

— Соглашение! Ха-ха! Станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!

Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтиительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут!

Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик вскочил на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки. На лицо ему хлынула кровь.

— Не надо мне фашистского милосердия! — бормотал он.

— Грязные фанатики, варвары, страна северных папуасов! — кричал генерал.

И вдруг — это было мгновенно — он отшатнулся, зажимая лицо: лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной.

Они все трое набросились на него и стали бить ногами по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, — он был еще крепок, ярость удесятерила его силы. Сидя на носилках, весь залитый кровью, он хлестал их по лицам, и они никак не могли схватить его.

Я стояла тут, рядом. Вы понимаете, я видела, как звери терзают этого светлого, гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. Всем существом моим рвалась я броситься ему на помощь и если не помочь, то хоть

умереть вместе с ним! Я не боялась смерти. Нет! Но я была на посту и знала, что теперь, накануне нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, нужно было, чтобы информация поступила, чтобы вы тут, в армий, знали, что готовят против вас, что замышляют наши противники.

И я совершила в этот день единственный, возможно, действительно героический поступок. Я даже не вскрикнула, сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить все. На моих глазах они забили его до смерти. Этот не знакомый мне чудесный человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его кровью. Но и я в этот час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала свое дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харьков...

Она вся тряслась, эта хрупкая девушка с нежной внешностью и нервами закаленного бойца, с волей старого солдата.

— Я даже не знаю его имени,— и теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..

И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая прическа рассыпалась, шпильки попадали на землю, волнистые локоны раскатились по грубому сукну шинели, и сразу стала видна широкая седая прядь.

Потом, как-то сразу, девушка успокоилась. Лицо ее, мокрое от слез, стало твердым, даже жестким, она вытерла глаза, собрала и заколола волосы и усмехнулась:

— Нервы... Ничего не поделаешь, придется отдыхать... Мне дают отпуск.

— А потом?

— Опять туда, к ним, ведь война не кончилась.

Она стала суровой, замкнутой, сразу как-то состарилась лет на десять.

— Туда? После таких испытаний?

— Он сказал тогда: «Мы — советские люди». В этой фразе — весь он. Я запомнила это на всю жизнь.

1943 г.

**К**апонада доносилась не спереди, как это чаще всего бывает на войне, а справа и слева, и лейтенанту Владимиру Пастухову, совершенно окоченевшему за баранкой руля, казалось, что едет он в каком-то узком коридоре, огражденном звуковым частотоколом из выстрелов и разрывов. Мощный мотор грузовика напряженно выл, устав работать на первой скорости. Судорожно звенели надетые на колеса цепи, раскидывая талый снег. Раненый шофер, ефрейтор Лиходеев, которого лейтенант по его просьбе привязал ремнями к спинке сиденья, то, скрипя от боли зубами, хрипло бранил бога и немцев, погоду и дорогу, замеченную сугробами, то впадал в забытие, жалобно стонал и тихим, полным ласки голосом, совершенно неожиданным у этого большого грубоватого человека, начинал звать жену Зину. Промозглый ветер остро задувал в разбитые стекла изуродованной кабины. Лиходеев приходил в себя, смотрел на спидометр, где стрелка покачивалась между цифрами пять и десять, и снова принимался браниться.

Иногда на голубой снежной равнине, перечеркнутой косыми и острыми, солописто сверкающими наметами, то там, то тут с громом вскакивал вдруг черный фонтан земли, и облако разрыва, взметнувшись огромным грибом, долго расплывалось в голубом, безоблачном небе.

— Колонну щупает, сволочь! — гудел сквозь зубы Лиходеев и советовал: — Гляньте, товарищ лейтенант, как там дистанцию-то держат. Неравно, влепит в кузов, в боеприпасы, беды наделает.

Не останавливая машины, лейтенант открывал дверцу и оглядывался. Нет, опытные его ребята строго соблюдали дистанцию. Колонна редкими черными звеньями растягивалась по белой равнине. Хвост ее уходил туда, где небесная голубизна сливалась со сверкающей снежной целиной, поднимался на пологий холм и исчезал за ним. Самому лейтенанту было не до разрывов. Все внимание его было поглощено двумя вещами: стрелкой спидометра, показывавшей ничтожную скорость, и звуками канонады. Канонада была такая, что порой и отдельного выстрела нельзя было различить. Но лейтенанту все время казалось, что гром пушек слабеет, и им овладевало отчаяние, на какое способна только юношеская, горячая душа, не обдутая всеми житейскими ветрами.

«Неужели опоздаем?» — спрашивал он себя. Против воли рука его переключала скорость, нога жала на педаль газа, и машина, взревев, рвалась вперед и останавливалась, судорожно разбрасывая снег цепями буксующих колес.

— Тише едешь, дальше будешь, — цедил сквозь зубы Лиходеев и тянул к рулю большие руки, покрытые бурыми чешуйками запекшейся крови.

Лейтенант переключал скорость, и опять мучительно медленно, как в страшном кошмаре — когда хочешь бежать, спасаясь от чего-то ужасного, а ноги не слушаются и липнут к земле, — двигалась автоколонна по прегражденной косыми сугробами дороге, совершенно невидимой под снегом, но, как вехами, отмеченной на белой равнине остовами разбитых и сгоревших машин. Дорога была пустынна. Только изредка попадались навстречу легко раненные. Группами и в одиночку брели они в тыл по извилистой пешеходной тропке. Лиходеев высовывался из разбитой кабины и спрашивал:

— Земляк, ну как там? Даем жару?

Раненые отвечали по-разному. Каждому из них казалось, что он был на самом ответственном и опасном участке битвы.

Но все сходились на том, что немец таранит окружающее его кольцо с особой яростью и что такой «жары», как сегодняшняя, они не знали еще за все восемнадцать дней с начала Корсунь-Шевченковского побоища.

— Со снарядами, товарищи, как? — крикнул Лиходеев двум раненым артиллеристам, ковылявшим по снегу, поддерживая друг друга под руку.

— Не густо... Считаем, считаем снаряды, — отозвался один из них, с забинтованной головой, и, обернувшись, крикнул вслед

медленно двигавшейся машине: — А вы жмите на полный, чего ползете, ждут ведь вас...

Лиходеев бессильно обвис на ремнях. Лейтенант, охнув, впился в баранку руля и весь оцепенел от страшного тоскливого чувства: неужели он все-таки опоздает, неужели из-за них — нет, не из-за них, а именно из-за него — смолкнут пушки, прорвутся, сомкнутся встречные клинья немецких войск, и тысячи, десятки тысяч врагов, зажатых искусством и хитростью советских полководцев в тесном кольце, вырвутся на простор?

Лейтенант Владимир Пастухов считал себя на войне неудачником. Причиной этому служило, по его мнению, одно его юношеское увлечение. У каждого из его школьных друзей была какая-то особая страсть. Его сосед по парте, маленький, крепко сбитый, весь какой-то пружинистый Саша Суханов, любил спорт. Тихий, худой, рассеянный Игорь Морозов с шестого класса, как говорили однокашники, «заболел радио» и до самого выпуска из школы в часы досуга собирал какие-то необыкновенные приемники. Володя Пастухов, сын обкомовского шофера, с раннего детства увлекся автоделом. Все каникулы он проводил у отца в гараже и в областном автоклубе, копался в моторах, изучал схемы. Пятнадцатилетним парнишкой он получил водительские права и умел разбираться в моторах машин всех имевшихся в городе марок. Неразлучную тройцу, имевшую столь различные наклонности, в школе звали «три мушкетера». Все трое были потихоньку влюблены в маленькую, тоненькую одноклассницу Нину Соколову, которая не была ни спортсменкой, ни автомобилисткой, не интересовалась радио, а проводила весь свой досуг в биологическом кабинете школы, среди земноводных, пресмыкающихся и грызунов.

Разные наклонности не мешали им крепко дружить, и когда в тихое, погожее воскресенье неожиданно началась война, все «три мушкетера» и их тоненькая дама, не сговариваясь, встретились в закуренной, битком набитой призывниками приемной районного военкомата. Год их призыву не подлежал, но каждый из них пришел сюда с написанным наспех и в самых взволнованных выражениях заявлением на имя военкома. Они просили зачислить их, как комсомольцев, добровольцами в ряды Красной Армии.

В военкомате были горячие часы. Сбившиеся с ног учетчики едва успевали принимать от людей повестки. С тремя юношами и хорошенькой девушкой в кокетливых туфельках и в праздничном пестром платье никто не хотел разговаривать. Перепробовав все средства убеждения, они, наконец возмущив-

шись, сломали писарские кордоны и с заявлениями в руках все четверо прорвались в кабинет военкома. Они заявили, что хотят служить вместе, в одной части. Усталый, осунувшийся, побледневший за этот день майор, с трудом оторвав взгляд от каких-то бесконечных списков, рассеянно выслушал сбивчивую их просьбу и, чуть улыбнувшись посережевшими губами, только вздохнул и написал на их заявлениях: «В отдел формирования». И тут дороги друзей разошлись. Спортсмен Суханов попал в пехоту и сразу же был направлен в разведроту. Морозова послали в глубокий тыл изучать десантное дело. Маленькая Нина получила путевку на военные курсы санинструкторов. Володя Пастухов, к его гневу, был направлен в автороту танковой бригады, формировавшейся под городом. Расставаясь, друзья утешали его как могли. Договорились ежемесячно обмениваться письмами.

С первых же дней Владимир Пастухов выделился среди военных шоферов техническими знаниями и дисциплинированностью. Его хотели оставить на ремонте, но это было еще дальше от войны, и он умолял командира поставить его на грузовик. Командир, преисполнившийся к нему доверием, стал поручать ему трудные и ответственные задания. Постепенно приобретался опыт. Под Сталинградом, везя боеприпасы укрывшимся в лощинках противотанковым батареям, Пастухов заменил убитого командира колонны.

Под огнем он без потерь провел колонну по балочке до самых батарей. Артиллеристы достреливали в те минуты последние снаряды.

Юноше присвоили звание младшего лейтенанта. Его назначили командиром автоколонны. Вскоре колонна его стала лучшей в корпусе. Имя лейтенанта Пастухова стало мелькать в штабных сводках. Но сам он продолжал тосковать «по настоящему делу», и когда в положенное время с разных концов фронта от друзей приходили письма, мрачнел, замыкался в себе.

Веселый, самоуверенный Саша Суханов сочно повествовал в своих письмах о подвигах своего разведвзвода, вылазках во вражеские расположения, о ловле «языков», о диверсиях. Тихоня Морозов с полгода молчал, а потом разразился длиннейшим письмом, в котором подробно расписывал, как он где-то на юге проник с рацией во вражеские тылы, как оттуда корректировал по радио огонь наших морских батарей, как потом его рация помогла партизанам совершить большой, трудный поход по горам. Нина все письма, написанные аккуратно, школьным почерком, наполняла рассказами о героических подвигах, вы-

носивших раненых из-под огня. Щадя самолюбие друга, она ничего не писала о себе, но лейтенант полагал, что героизм стал для Нины бытом.

Милая, чуткая девушка становилась все ближе и дороже по мере того, как увеличивались дни их разлуки и росло расстояние, разделявшее их на огромном фронте.

Что мог ответить он друзьям, находившимся в гуще войны, на самых опасных ее участках? Что исправно доставляет на место назначения сухари и снаряды? Что шоферы колонны любят и слушаются его? Что последний инспекторский осмотр нашел подчиненные ему машины в отличном состоянии и он со своей колонной вышел на первое место в армии по экономии бензина?

Он думал, что насмешница Нина, получив письмо с перечислением таких прозаических и, как казалось ему, далеких от войны вещей, обязательно должна сморщить курносый носик: «Нашел чем хвастаться — ломовой извозчик!» Представив себе это, он писал ей и друзьям письма короткие, как рапорты. В ответах друзья бранили его за сухой тон, высказывали ехидные предположения, что он, вероятно, совсем обюрократился в автобате. Нина же в последнем письме даже пофилософствовала на тему о том, что пребывание в армейских тылах портит характеры и меняет людей до того, что они начинают забывать даже друзей детства.

Эх, с каким бы жаром при личной встрече рассеял лейтенант все сомнения! Какие бы слова нашел он, чтобы рассказать ей, что каждая его свободная минута отдана ей, что, засыпая где-нибудь в дороге, он думает о ней, и ему становится тепло и уютно на холодном сиденье машины, что в минуту опасности ее образ является к нему и делает его бесстрашным и хладнокровным. Как рассказал бы он ей при встрече о своем приятеле ефрейторе Лиходееве, об остальных водителях, готовых ехать с ним хоть в самое пекло, о том, какие это все смелые, храбрые, дружные солдаты! Но все, что так легко можно было бы рассказать при встрече, никак — ну никак! — не укладывалось в строки письма. И, боясь насмешить напыщенным стилем девчат из военной цензуры и адресатку, он яростно рвал пространное письмо и вместо него на четвертушке бумаги писал сухой короткий ответ, похожий на рапорт о доставленных грузах.

Но вот наступил день, когда лейтенанту Пастухову подумалось, что ему наконец будет о чем написать любимой девушке и друзьям.

Части Красной Армии, развертывавшиеся за Днепром весеннее наступление, замкнули у Корсунь-Шевченковской большую немецкую группировку. Продолжая двигаться вперед в условиях невероятной украинской распутицы, они сжимали это кольцо. Только под Сталинградом видел лейтенант Пастухов такие массы брошенной техники, такое обилие трупов, валявшихся в лощинах, балках, на полях у околиц сел и на опушках лесков, какие видел он здесь, на черной и жирной украинской земле, уже сбросившей снежный покров, густо насыщенной весенней влагой.

Войска всех родов оружия взаимодействовали в этой великоколепной операции, и автоколонна лейтенанта Пастухова — лучшая в подвижной механизированной группе — пятнадцать суток, без перерыва, без остановок на ремонт и на ночлег, возила военные грузы. На исходе пятнадцатых суток штаб разрешил наконец колонне расположиться на отдых. Сломленные усталостью, шоферы, плотно закусив, заснули прямо на сиденьях в кабинах машин. Самого лейтенанта сон сломил на складе, куда он сдал привезенные боеприпасы. Он заснул, присев на горке упаковочных стружек, и верный друг Лиходеев не стал его будить, а только подмостил ему под голову вещевой мешок да потеплее укутал брезентом.

Лейтенант спал, и снилась ему Нина, такой, какой она была на последней присланной ему фотографии: в военной форме со старшинскими погонами, которая ей очень шла. Она смеялась и все звала его куда-то, теребила за плечи, настойчиво тянула за руку. Она знала, что ему обязательно нужно пойти за ней. Он всем своим существом стремился сдвинуться с места, но, как это часто бывает во сне, несмотря на все усилия, не мог оторваться от земли. Наконец, рассердившись, Нина схватила и потянула его обеими руками. Сила, державшая его, ослабла. Радостно вскрикнув, он устремился за Ниной и... открыл глаза. Острый луч электрического фонарика бил ему в лицо, и откуда-то из-за темной границы этого луча знакомый голос начальника боепитания корпуса басил с хрипотцой:

— Ну и спите же вы, доложу я вам!.. Отряхайте скорее стружки и прямо к генералу... Боевое задание первой же важности.

Очарование сна еще не рассеялось, сердце билось учащенно и сладко, а лейтенант уже торопливо шагал по цепляющейся за ноги грязи за темной фигурой начальника боепитания, выхватывавшего острым лучом фонарика то черное густое месиво раскисшей тропинки, то белую стену хатки, то выпачканные

в грязи сапоги вытягивавшегося перед ним часового. Порученец, дремавший в сенах на перевернутой кадке, еще издававшей пряный запах соленых помидоров, сейчас же провел их в хату, где в белом свете аккумуляторной лампочки, заложив руки за спину, поскрипывая щегольскими сапогами, ходил взад и вперед командир механизированного соединения, молодой, но уже поседевший генерал, которому большие круглые очки придавали совсем штатский вид.

— Долго шли, — хриловато произнес генерал, поправляя на носу дужку очков и ловко заводя их оглобельки за уши. — Колонна в порядке? Машины заправлены?

— Так точно, товарищ генерал, — отчеканил лейтенант и хотел было сказать, что люди отдыхают после нечеловеческого двухнедельного напряжения, но генерал его перебил:

— Лейтенант Пастухов, передаю вам боевое задание командующего фронтом: немедленно выехать в район Шполы. Возьмете на складах снаряды для танков и гвардейских минометов. И чтобы... — Генерал взглянул на часы, потом поднял глаза на юное, порозовевшее от волнения лицо лейтенанта и раздельно добавил: — И чтобы завтра к двум ноль-ноль доставить их сюда.

Как-то однажды прорвавшимся в тыл немецким танкам удалось атаковать штаб корпуса. Лейтенант Пастухов видел тогда в критическую минуту, как этот генерал, похожий на ученого, хладнокровно рассылал людей на посты и руководил отражением внезапной атаки. Сейчас он явно волновался и даже не пытался этого скрыть. Когда лейтенант повторил приказание, он подтолкнул его к карте, разостланной на столе, как скатерть.

— Поймите, лейтенант Пастухов, от вас, может быть, в какой-то степени зависит сейчас судьба всей этой замечательной операции.

На карте, недалеко от толстой голубой жилы Днепра, был синим карандашом заштрихован небольшой, неправильной формы овал, захватывавший всего несколько селений. Узкая полоса, занимавшая на карте пару сантиметров, отделяла этот овал от фронта неприятельской армии, и на полосу эту, на которой густо стояли номерки наших частей, с двух сторон — от центра окруженной группировки и извне, навстречу ей, — устремлялись острые толстые синие стрелы.

Генерал указал карандашом в центр узкого перешейка, отделявшего окруженную группировку от основной массы немецких войск. Как раз в эту точку и были нацелены зловещие стрелы.

— Мы с вами здесь, — сказал он. — Понимаете? Перехвачен приказ Гитлера окруженным войскам попытаться любой ценой прорвать наше кольцо. С юга навстречу им... Слышите? — Генерал двинул локтем в сторону четко доносившейся канонады, от которой гудели стекла в окнах хатки и, посверкивая в холодном луче лампочки, покачивалась в графине вода. — С юга навстречу им пробивается первая бронетанковая армия генерала Хубе. С двух сторон они таранят наше кольцо. Только что здесь, в этой хате, был сам командующий фронтом, — генерал с уважением назвал фамилию одного из самых боевых и проницательных советских полководцев, — он передал приказ Ставки не выпустить ни одного неприятеля. Понятно?

— Так точно, — тихо ответил Пастухов, чувствуя, как от прикосновения к высшим военным тайнам у него взволновалось сердце. Ему даже показалось, что оно бьется так громко, что генерал может услышать, и он незаметно положил руку на сердце.

— Мы выполним этот приказ, если нам вовремя подвезут снаряды. Понимаете? Их будут бросать на парашютах. Но основное предстоит сделать вам. Немцам не пробиться, если ваша знаменитая, — генерал особенно подчеркнул «знаменитая», — автоколонна преодолет невероятную грязь и вы привезете боеприпасы. Поняли?.. О доставке доложите лично мне.

Лейтенант отрубил «так точно», стукнул каблуками и, даже не спросив разрешения генерала, бегом выскочил из хаты. Наконец-то ему поручили настоящее дело! Он весь светился взволнованной радостью, и это его волнение сразу же передавалось заспанным людям, которых с трудом выволакивали из машин и поднимали на ноги. Они как-то сразу, как гусь воду, стряхивали тяжелый сон. Через десять минут, урча моторами, разбрасывая цепями колес густую грязь, колонна с притушенными фарами вышла за околицу села по заданному направлению.

В душе лейтенанта все звенело и пело. Это казалось каким-то продолжением радостного сна. Он знал, что машины не подведут. Он верил своим людям.

И в самом деле, несмотря на страшную грязь, почти парализовавшую движение на дорогах, заставлявшую немцев десятками, сотнями бросать машины, колонна добралась до армейской базы даже до срока, намеченного лейтенантом. Встав в живую цепь, шоферы помогали грузить снаряды. Работали с таким энтузиазмом, что тяжелые ящики со сталью порхали

над бортами машин как фанерные цибики с чаем. Даже медлительные и величественные кладовщики, даже военные писаря, работающие на выпуске боеприпасов, захваченные общим порывом, помогали погрузке.

Через час колонна двинулась назад. Лейтенант Пастухов ликовал.

Может быть, до рассвета, до того, как подсушенная почными заморозками грязь раскиснет и превратится в кисель, удастся пройти наиболее разбитые участки дороги. И воображение уже рисовало, как он докладывает генералу о досрочной доставке боеприпасов, как генерал благодарит его и его ребят, как потом, отпущенный на отдых, лейтенант забивается куда-нибудь в укромный уголок хатки и пишет, с упоением пишет большое письмо Нине, — письмо, о каком он мечтал уже третий год беспокойной военной жизни.

Готовые фразы этого будущего письма звучали у него в ушах. Уж теперь-то он прямо напишет однокашникам, что возить снаряды — дело не менее важное и даже, черт возьми, не менее опасное, чем ходить в разведку или во вражеском тылу выстукивать радиogramмы...

И вот тут случилось то, чего увлеченный радостными мыслями лейтенант никак не ждал. Внезапно, точно обрушившись с неба, завязалась одна из тех страшных метелей, какие в феврале бывают в этих приднепровских местах. Шевелящаяся мгла окружила машины. Широкие белые полотнища затрепетали перед фарами. Они потускнели. Снег повалил так густо, что за ветровым стеклом было трудно разглядеть побелевшую, точно отороченную пушистым кроличьим мехом, кромку радиатора.

— Придется загорать, товарищ начальник, — сказал Лиходеев, останавливая машину, которая словно уперлась в сплошную белую шевелящуюся стену.

— Вперед! — свирепо крикнул лейтенант, порываясь к рулю. — Вперед!

— Куда ж вперед? Тут кюветы глубокие, ввалимся — и трактором не вытащишь, — невозмутимо ответил шофер.

Чувствуя, что внутри у него вдруг все похолодело, лейтенант перекинул через плечо ремень сильного аккумуляторного фонаря и выскочил из машины в воющую и шелестящую снегом тьму. Неужели стоять? В такую погоду и авиации не вылететь! Батареи там, на кромках горловины, останутся без боеприпасов, немецкие танки пробьют кольцо!

Став на четвереньки, лейтенант нащупал под сырым пушистым снегом колею. Согнувшись, освещая фонариком дорогу,



иногда для верности щупая ее рукой, он двинулся вперед. Лиходеев тронул машину, следя сквозь белый шевелящийся мрак за слабым мерцанием лейтенантского фонарика. По влажному следу первой машины, четко зачерневшему в свежем снегу, двинулась вся колонна. Буран гудел, свистел, бесновался, с яростью обрушивая на поля новые и новые снежные тучи, махая пушистыми полотнами, с воем бросал их под ноги и, свистя, тащил в поле. Он валил лейтенанта с ног, толкал его в спину, колол лицо острыми льдистыми иглами. Но лейтенант, наклонясь вперед, проламывая собою ветровые волны, хоть и не быстро, все же шел по дороге, показывая машинам дорогу в этой свистящей снежной каше.

Потом, сыпанув на прощанье снегом особенно щедро, буран стих так же внезапно, как и налетел. Снова по обеим сторонам коридора стала слышна канонада, задрожали зарницы близких разрывов. На небе высыпали звезды, похожие на брызги осветительных ракет. Показавшаяся луна облила все холодным магнисвым светом.

Ландшафт изменился, как будто, пока бушевала метель, кто-то успел сменить декорацию. Вместо широко разлившейся по полям дороги, вместо набрякшего водой чернозема, тускло поблескивавшего под луной, всюду, куда ни взглянешь, лежала, синевато сверкая, белая пустынная равнина. Дорога потерялась. Но как караванный путь в пустыне угадывается по торчащим из песка костям людей и животных, так и эта фронтальная дорога угадывалась в снегу по черным остовам сожженной немецкой техники, торчавшим из снега.

Едва чувствуя под собой ноги, лейтенант ввалился в кабину головной машины. Он изнывал от жары и был совершенно мокр, как будто его прямо в полущубке только что искупали в горячей воде.

Едва передохнув, он спросил Лиходеева, сколько же километров сделали они в метели. Ему думалось, что они проехали очень много.

— Да километров пять-шесть, — невозмутимо ответил Лиходеев. Ловко вращая баранку, он вел машину сквозь строй безобразных железных остовов, каким-то особым шоферским чутьем угадывая под снегом колею.

Канонада становилась слышнее. А машины шли медленно, с трудом пробивая путь через косые, преграждавшие дорогу снежные наметы. Иногда, то справа, то слева, то впереди, взметывались вверх багровые вспышки. Лейтенант знал, что это значит. Но даже мысль об опасности не приходила в го-

лову. Видя, что ночь попомногу бледнеет, он прикидывал в уме оставшееся расстояние, делил его на среднюю скорость машины и гадал: успеют ли они прибыть в положенный час. Он был так поглощен подсчетами, что, когда где-то рядом ухнуло так, что грузовик качнуло, плеснули выбитые стекла и Лиходеев вдруг, отвалившись от баранки, стал со стопом сползать со скамьи, лейтенант не сразу отдал себе отчет в том, что произошло.

Машины остановились. Сзади, из зеленоватой полумглы пожегого морозного утра, к раненой машине бежали водители. Заглядывая в выбитые стекла кабины, они справлялись, что случилось, давали советы лейтенанту, ловко бинтовавшему раненного спутника.

— Ох, гоните их по машинам... Поехали, поехали, — сквозь зубы торопил Лиходеев, которого лейтенант усадил на сиденье. — Мотор тянет? Сами доведете?

Лейтенант, у которого от взрыва остро болела голова и скрежещуще звенело в ушах, сел за руль, дал гудок, и колонна тронулась. И вот теперь, прокладывая себе дорогу по белой равнине, над которой то там, то тут продолжали вскидываться черные фонтаны земли и поднимались высокие бурые грибы густого дыма, долго стоявшие в тихом морозном воздухе, колонна упорно двигалась в заданном направлении.

Разрывы теперь были слышны даже сквозь рев мотора. Все больше шло навстречу раненых. До места назначения оставалось всего с десятков километров. Сердце лейтенанта начало было снова наполняться взволнованной радостью. Но дорогу пересекала глубокая извилистая балка. Мост, по которому они вчера проехали, висел теперь безобразным оборванным кружевом над черной взлохмаченной водой небольшого, но быстрого ручья. Правее моста проходившие танки проложили брод. Лейтенант направил машину туда. С ходу она миновала приречную мочажину, содрагаясь на камнях и разбивая колесами воду, прошла русло, но уже на той стороне вдруг затормозила и, как сразу понял лейтенант, непоправимо загрузла в грязь. Весь похолодев, он сделал несколько судорожных рывков. Буксуя, колеса глубже и глубже входили в землю. Но — и это было самым страшным — головная, завязнув, преградила путь остальным. Подбегавшие шоферы окружили машину, уперлись в нее плечами, раскачивая, толкали ее, старались приподнять на руках. Мотор ревел, выл, звенели цепи, густо хлюпала грязь. Машина судорожно рвалась и все глубже врастала в хлипкий грунт.

— Не иначе, придется разгружать, — прошептал Лиходсев, приди в себя.

Разгружать? Это минимум час задержки. А солнце уже высоко. И впереди еще порядочный отрезок пути. Стрелки часов на щитке машины неумолимо движутся, будто часы назло ускорили ход. Лейтенант Пастухов почувствовал вдруг страшную усталость. Не задумываясь, он отдал бы год жизни за каждый выигранный час. Неужели разгружать? Опоздали... опоздали... Нарушили приказ...

Он выскочил из кабины. Машина, говоря по-шоферски, прочно легла на пузо. Усталые, отчаявшиеся люди стояли вокруг, бессильно опустив руки, мокрые, забрызганные грязью с головы до ног. Они с надеждой смотрели на лейтенанта. Что же делать?

И вдруг все, как по команде, подняли голозы, насторожились. Где-то за скатом оврага слышался рокочущий звук мотора. Все двадцать два человека с надеждой смотрели вверх. Те, что помоложе, бросились карабкаться на скат и уже с гребня торжественно кричали вниз:

— Танк, танк идет!

Да, только танк с могучим мотором, с широкими цепкими гусеницами мог выручить колонну. Танк приближался. Вот он рыкнул на повороте. Его выбеленный маскировочный известью корпус показался над скатом оврага, перевалил через гребень и осторожно, как тяжелый и сильный зверь, рыча и фыркая, танк стал спускаться к броду. В башенном люке, видный по пояс, стоял плотный человек в ушанке и просторном военном полушубке, крепко перехваченном ремнем.

У него было хмурое, суровое лицо, губы были плотно сжаты, серые глаза смотрели остро и зорко. Шоферы тотчас окружили машину.

— Друг, вытащи... Помогите... С боевым заданием едем... — послышалось со всех сторон.

Пожилой башнер со стальными глазами, рассеянно слушая их, нетерпеливо оглядывался кругом, видимо высматривая, как лучше объехать застрявшую и преграждавшую путь машину.

— Друг, помогать надо, будь человеком... Недельную пайку табака дам... Табак — вырви глаз... Нам флягу фронтовой на путь дали. Мы и начать не успели — не до нее было, забирайте всю, только вытащите, — соблазняли шоферы.

Какая-то тень улыбки мелькнула на волевом лице пожилого башнера, тронула его поджатые губы, чуть заметно засвети-

лась в уголках глаз. Он отрицательно покачал головой. Но шоферы уже заметили, как на мгновение смягчилось это жесткое лицо, успели разглядеть под маской суровой непреклонности простое, доброе, глубоко человеческое. Голоса загомонили с новым воодушевлением:

— Помоги, землячок! Что тебе, жалко?.. Первый раз, что ли, по фронтовой дороге едешь?.. Не солдат, что ли, не знаешь, что друг дружке положено в беде помогать?.. Ты пойми, друг: ведь снаряды везем, снаряды, на самый, как говорится, пупок... Эй, дядя, не будь гадом!

Лейтенант Пастухов вскочил на броню. Он тронул башнера за плечо:

— Товарищ танкист, давай выручай. Слышишь, наши пушки стихают... Ведь прорвется немец, если боеприпасы не подкинем... Сам командующий фронтом, — и лейтенант, воодушевленно сверкая глазами, как можно внушительнее произнес фамилию широко известного и любимого в войсках полководца, — сам приказал нам к двум ноль-ноль доставить снаряды.

— Некогда, товарищ лейтенант. Мы... с оперативным заданием в штаб фронта едем, — отозвался наконец башнер и, нагнувшись, что-то повелительно крикнул внутрь танка. В это мгновение он показался Пастухову знакомым. Ну да, лейтенант где-то уже видел это круглое лицо с тугими волевыми складками на щеках, этот пристальный взгляд узких серых глаз. Но раздумывать было некогда. Танк дернулся вперед и, рыкнув, стал толчками разворачиваться, явно стремясь обойти завязшую машину.

— Как вам не стыдно! — крикнул лейтенант, и в его зазвеневшем голосе послышались слезы.

Последняя надежда доставить снаряды в срок уходила. Как быть? Лейтенант спрыгнул с машины, забежал вперед и, загородив ей дорогу, смотря ненавидящим взглядом на стоявшего в башне человека, крикнул:

— Не пуцу! Пока не вытащишь машины — не пуцу. Слышишь? — И вдруг он лег под самые гусеницы, в грязный, мокрый, истолченный сапогами снег. Точно по команде, легли рядом шоферы его колонны, и живая кромка тел преградила танку путь к броду... Танк, сердито рыкнув, точно в недоумении, остановился перед этой слабой, невысокой, но непреодолимой стеной.

Человек в башне, шевельнув русыми бровями, смотрел вниз. Солдаты лежали в грязи на земле с таким видом, что ясно было: они скорее дадут раздавить себя, чем пропустят машину.

Скупая, но сердечная усмешка тронула губы башнера. Наклонившись, он что-то приказал экипажу танка, вылез из башни, соскочил на снег. Притопывая и разминаясь, с нескрываемым интересом посматривал на поднявшихся с земли, с ворчанием отряхивающихся шоферов. И опять что-то очень знакомое почудилось лейтенанту в этом высоком, статном танкисте с суровым и волевым солдатским лицом. А люди уже прилаживали буксир к крюкам танка. Работа кипела.

— Вот так оно лучше. А то спорит! Всё равно б не пропустили...

Высокий человек в полушубке похаживал по берегу, нетерпеливо следя, как танк перетаскивал через мочажину одну машину за другой. Но в его взоре уже не было досады, и с особым удовольствием останавливался этот взор на лейтенанте с тонким черным пушком на еще небритой губе, с ярким девичьим румянцем, полыхавшим на худых щеках. Из заднего люка танка выскочил белокурый щеголеватый подполковник. Он пощурился на солнце, удивленно поглядел на то, что происходило у брода.

В это мгновение что-то прошелестело над головами, землю встряхнуло, и фонтан мутной воды вскочил над ручьем, обдав всех крупными брызгами. Человек в полушубке только глазом повел в сторону взрыва и продолжал ходить. Подполковник бросился к лейтенанту Пастухову.

— Вы с ума сошли... Прекратите эту возню... Пропустите танк,— сердито зашептал он вытянувшемуся перед ним лейтенанту. Он с опаской покосился на того, кого Пастухов и шоферы приняли за танкиста.— Это же командующий фронтом. Он спешит на свой эппе на танке, потому что все машины увязли в этой чертовой грязи.

Командующий фронтом! И тут лейтенант понял, что это показавшееся ему знакомым лицо он не раз видел в газетах. Это был тот самый знаменитый генерал, приказом которого он так некстати козырнул, споря с ним же самим. И этого командующего, руководившего здесь сейчас осуществлением плана окружения огромной немецкой группировки, лейтенант Пастухов задержал, заставил вылезти из машины, грозил ему его собственным именем, подверг опасности обстрела. Что же теперь будет? Ну ладно, что бы ни было! Танк перетаскивал последнюю машину. Пусть себе сердится щеголеватый подполковник. Ну, пусть арест, пусть штрафбат, пусть что угодно,— но ведь приказ будет выполнен, снаряды-то придут вовремя! Разогнав под ремнем складки шинели, поправив шапку, лей-

тенант Пастухов молодцевато подошел к командующему. Вытянулся, бросил руку под козырек.

— Товарищ генерал армии, докладывает начальник автоколонны лейтенант Пастухов... Виноват, не узнал. Готов понести наказание за незаконную задержку.

Командующий резко повернулся на каблуках. По выражению его замкнутого, неподвижного лица трудно было угадать, что он думает. Но в узких серых зорких глазах лейтенант увидел веселые искорки.

— Из какой части? — спросил негромко командующий.

Чувствуя, что все на нем как-то сразу обмякло, потеплело, наливаясь буйной радостью, лейтенант Пастухов звонко отчеканил название части.

— Передайте вашему генералу, что под его началом служат хорошие солдаты и офицеры. Передайте, что командующий фронтом объявил вам и вашим людям личную благодарность за отличное несение службы, — и, покосившись на щеголеватого подполковника, командующий бросил ему: — Запишите фамилию лейтенанта. Доложите по приезде...

Крепко пожав руку лейтенанта Пастухова сухой, сильной рукой, командующий легко поднялся на броню. Танк двинулся вперед. Лейтенант бегом бросился к головной машине, вскочил в кабину и расцеловал бледное, измученное лицо Лиходеева, ласково улыбавшееся ему.

Машина тронулась по следу, проложенному танком. И хотя опять то справа, то слева возникали земляные фонтаны разрывов, хотя рядом снова впавший в забытие Лиходеев скрежетал зубами, хотя стрелка спидометра не перескакивала цифры пятнадцать, лейтенант теперь уже не сомневался, что доставит груз вовремя, что ни одному врагу не уйти из Корсунь-Шевченковского кольца, что битва на Днепре обязательно будет выиграна и что Нина, прочтя его письмо, не посмеется над ним и, может быть, даже когда-нибудь отдаст свое сердце ему, ломовому извозчику войны, самому скромному и самому верному из всех «трех мушкетеров».

1944 г.

**О**днажды в самый разгар войны в известной на весь Калининский фронт роте разведчиков, которой, как сейчас помнится, командовал тогда капитан Кузьмин, произошел любопытный спор между двумя любимцами роты — старым солдатом Николаем Ильичом Чередниковым и удачливым снайпером Валентином Уткиным, человеком, годами хотя и молодым, но немало уже повоевавшим.

Чередников, всегда относившийся к молодежи покровительственно и немножко насмешливо, однажды, расхваставшись в блиндаже, в присутствии всего отделения, заявил, будто сумеет он так замаскироваться, что Уткин, подойдя к нему на десять метров и зная наверняка, что он где-то тут, рядом, не сумеет его заметить. Уткин же, парень бывалый, самоуверенный, да и не без основания самоуверенный, заявил, что все это «мура собачья», что он, к тому времени подстреливший из засады бог знает сколько гитлеровцев, в пятнадцати метрах муху разглядит, а не то что человека, да еще такого дюжего и здорового, как дядя Чередников, — так звали в роте Николай Ильича.

Поспорили на кiset с табаком.

Судьей просили стать «поителя и кормителя» роты старшину Зверева, человека справедливого, пользовавшегося у бойцов уважением.

В час, когда рота отдыхала, отведенная после горячих дел во второй эшелон полка, старшина торжественно вызвал Уткина и повел его с собой. Напутствуемые солеными шуточками,

пожеланиями удачи, они вышли из расположения роты на задворки деревни, пересекли запущенное, непаханое, затаенное бурьяном поле, огороженное разрушенной изгородью, и остановились на повороте проселочной дороги, там, где она, некруто загибаясь, уходила в редкий молодой березнячок.

— Стой тут и гляди в оба,— сказал старшина, засекая на часах время и сам ища глазами, куда бы это мог спрятаться тут дядя Чередников.

Был серенький, промозглый, ветреный день. Над мокрым полем, над леском, трепетавшим бледной шелковистой зеленью весенней листвы, торопливо тянулись бесформенные бурые облака, почти цеплявшиеся за верхушки деревьев. Крупные тяжелые капли висели на гляцевитых ветках кустов. Холодная сырость пробирала до костей. Но где-то высоко, наперекор непогоде, жаворонки звенели над печальными забурьяненными полями о том, что не осень это, а ранняя весна стоит над миром.

Уткин внимательно огляделся. Местность кругом была ровная, прятаться на ней было негде, за исключением, пожалуй, кустарника, росшего по опушке. К нему-то он и стал присматриваться. Терпеливым цепким взором разведчика он обшарил каждую березку, кочку, каждый кустик. Порой ему казалось, что он заметил несколько примятых травинок, или шматок неестественно вздыбленного мха, или сломанный прут, вжатый ногой в болото и торчащий вверх обоими концами. Разведчик настораживался и хотел уже звать дядю Чередникова, но, взглядевшись повнимательнее, убеждался, что ошибся, и снова, с еще большим вниманием, начинал осматривать местность.

Старшина сидел возле на большой груде камней, что лежала на меже, покуривал и тоже с любопытством поглядывал кругом. От непрерывно сеявшего мелкого дождя трава покрылась сероватым дымчатым налетом, похожим на росу. Каждый след выделялся на ней темным пятном. Но следов не было видно, и это больше всего смущало обоих.

Наконец, к исходу положенного на поиски времени, Уткина взяла досада. Ему начало казаться, что старый разведчик подшутил над ним, что сидит он сейчас, по обыкновению своему, где-нибудь у костра, подкладывает сухие ветки, мечтательно следит, как танцует и потрескивает огонь, посмеивается в усы над легковерами.

— Разыграл, старый черт! — не вытерпел наконец Уткин. — Все! Пошли!.. Чего тут пустырь разглядывать курам на смех!

И как только он это сказал, где-то совсем рядом, точно из земли, раздался знакомый хриплый голос:

— А ты гляди внимательней... торопыга... Глаз-то не жалей, а то все «я, я, я»! Вот и вышла последняя буква в азбуке.

Заскрежетали, загремели камни, и из соседней, лежавшей рядом, в двух шагах, каменной кучи, находившейся так близко, что Уткин не обратил на нее даже внимания, отряхиваясь и поеживаясь от сырости, поднялась высокая сутуловатая фигура старого разведчика с мокрыми от дождя, обвисшими, прокуреными, изжелта-бурыми усами.

Он обдернул гимнастерку, ловким движением больших пальцев загнал складки за спину, поправил пилотку на голове, вскинул на плечо винтовку, подошел к Уткину, так и застывшему на полушаге с открытым ртом, и протянул руку:

— Давай кисет.

Уткин молча вынул синий шелковый кисет с вышитой гладью надписью «На память герою Великой Отечественной войны», заветный кисет, полученный в первомайском подарке и служивший предметом зависти всей роты. С сожалением глянул он на него и протянул дяде Чередникову. Тот невозмутимо взял кисет, набил из него маленькую самодельную трубочку, выпустил несколько колец дыма, аккуратно завязал кисет бечевкой и положил в карман.

— Хоть знаю — жалеешь, а не отдам, чтоб больше со старым солдатом Чередниковым Николаем пустых споров не было. Чтоб яйцо курицу не учило. Понятно это вам, гвардии боец, дорогой товарищ Уткин?

А с кисетом этим была связана целая история, и историю эту все в роте знали. Получив его в подарок вместе с табачком, нашел в нем Валентин Уткин записочку: дескать, кури себе, боец, на здоровье да меня вспоминай или что-то такое в этом роде, и подпись, и адресок: город Калинин, ткацкая фабрика «Пролетарка». И из этого кисета к тому времени выросла не только мощная переписка, а, можно сказать, целая любовь. Поэтому все в роте удивились, как это дядя Чередников, человек душевный, справедливый, коммунист, готовый, если надо, для товарища половину своего солдатского мешка разгрузить, лишил общего любимца такой памяти.

Но, как бы там ни было, спор этот еще больше поднял авторитет дяди Чередникова, и что бы с тех пор старый разведчик бойцам по делу ни говорил, никто уж оспаривать не решался. И даже сам капитан Кузьмин иной раз звал к себе дядю Чередникова на совет.

Разведчик! Вы, наверное, представляете его себе таким молодцеватым парнем, подвижным, быстрым, с энергичным лицом, с острыми глазами и обязательно с автоматом на груди. А дядя Чередников, как вы знаете, был уже в годах, высок, сутул, медлителен и не то чтобы неразговорчив, — просто он предпочитал слушать, а не рассказывать. Слушая же, он не выпускал изо рта маленькой кривой трубочки, которую сам смастерил перочинным ножом из нароста березы.

Автомата он тоже не носил и предпочитал ему обычную русскую трехлинейную винтовку. Тем не менее разведчик и снайпер он был по нашему фронту непревзойденный, с настоящим талантом следопыта, со своей особой ухваткой, с лисьей хитростью и с неистощимой изобретательностью.

Колхозник-сибиряк, таежник, потомок многих поколений русских звероловов, он и к войне подходил со спокойным расчетом и деловитостью. Он и сам говаривал, что фашист, раз он к нам с оружием в дом влез, для него не человек, а зверь — и зверь лютый, кровожадней хорька, повреднее, чем волк. И он охотился за ним постоянно, неутомимо, заполняя этим не только многие боевые дни, но и редкие фронтовые досуги, когда роту отводили во второй эшелон на отдых.

Он не вел счета истребленным фашистам, как это делали в те дни другие бойцы, как не вел когда-то в тайге счета добытым им белкам. Но друзья его, разговорившись, давали честное гвардейское, что «нащелкал» дядя Чередников неприятеля близко к сотне. Сам он — и, думается мне, без рисовки — значения этому большого не придавал: дескать, эка радость подшибить фрица-ротозея!

Однако, как охотник помнит убитых медведей, он запомнил трех уничтоженных им врагов: двух офицеров, которых он подстерег, лежа в нейтральной полосе, и снял во время командирской рекогносцировки, и одного, как он говорил, «страсть вредного» снайпера, подкараулившего нескольких наших бойцов и ранившего любимца роты разведчиков — пса Адольфу, лохматую, голосистую дворнягу, бегавшую по переднему краю с трофейным Железным крестом на шее.

За этим снайпером дядя Чередников охотился недели две. Тот знал об этом и, в свою очередь, охотился за старым разведчиком. Как бы состязаясь в мастерстве, они сутки за сутками караулили друг друга. Чередников, получивший задание капитана во что бы то ни стало снять «вредного снайпера» и решивший, как говорится, воевать до победного конца, появлялся в те дни в роте, только чтобы забрать у старшины суха-

рей, консервов, табаку и наполнить фляжку спиртом, которым он спасался от лихих январских морозов. Он приходил похудевший, обросший, злой, с воспаленными глазами, с обкусанными кончиками усов, на вопросы не отвечал и, подремав часок-другой в уголке землянки, уходил обратно на передовую.

Только к исходу второй недели удалось ему разглядеть снежную нору немецкого снайпера. Она была вырыта за трупом лошади, лежавшим тут с осени, безобразно раздутым и уже запорошенным снегом.

Дядя Чередников попробовал вызвать противника на бой выстрелом. Тот не ответил. Но с передовой противник открыл на выстрел такой огонь, что разведчик еле отлежался в своей норе.

Попробовал установить в леске чучело в каске и маскхалате. Хитрость не новая, однако и на нее попадали. Но «вредный снайпер» не клюнул. День пропал зря.

Тогда однажды в туманную ночь, перед рассветом, дядя Чередников протоптал следы к сосенке, одиноко стоявшей как раз напротив палой лошади, отряхнул с веток иней, посорил по снегу корой и едва заметно разложил за ней свой маскировочный халат. Все это замаскировал. От дерева он протянул белую нитку к своему настоящему убежищу, выкопанному в снегу, и дал все это заволочь инеем оседавшего утреннего тумана.

Когда совсем рассвело и поднялось солнце, он начал дергать нитку. С ветвей сосенки стал тихо осыпаться снег. Поддержит и замрет. Подождет полчаса, поддерживает и опять замрет. Наконец в норе немецкого снайпера послышалось шевеление. Над бурым пузом лошади поднялось что-то более белое, чем снежный горизонт. Грянул выстрел. Он слился с выстрелом дяди Чередникова. И все стихло. Только снег осыпался с пробитой ветки сосны, возле которой ночью разведчик с такой тщательностью раскладывал и маскировал свой халат.

С тех пор «вредный снайпер» больше не досаждал нашим бойцам, и пес Адольфка, излеченный помаленьку заботами разведчиков, мог смело бегать по передовой, позвякивая своим Железным крестом, пренебрежительно поднимая ногу у пеньков и брустверов на самом виду у немцев.

Охотой за неприятелем дядя Чередников заполнял свои досуги, но настоящая-то военная специальность была у него — разведчик. Много наши разведчики придумали в Великую Отечественную войну разных хитростей, о них я рассказывать не стану. Дядя Чередников предпочитал разведку бесшумную, основанную на логкости, на знании повадок врага, на уменьье

маскироваться. Вдвоем со своим напарником, тем самым Валентином Уткиным, у которого он так безжалостно выпорил заветный кисет, они, как ящерицы, проползали в неприятельское расположение и высматривали, что нужно. Иногда, когда это требовалось, снимали с поста холодным оружием зазевавшегося часового и всегда так же тихо, без выстрела, возвращались.

Для Чередникова разведка была даже не специальностью, а искусством. Он любил ее, как артист, и, как настоящий артист, охотно, терпеливо учил молодежь, прибывавшую из запасных полков. Но учил не словами. Он не любил слов. На местности показывал он молодым солдатам, как надо переползать, как войлоком обматывать сапоги, чтобы шаг был бесшумен, как по моховым наростам на дереве, по годовым кольцам на пнях определить, где юг, где север, как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны, как нюхательным табаком сбивать собак со следа, как в снегу уметь прятаться от холода, как по разнице между выстрелом и разрывом определить дальность вражеских позиций, а по тону выстрела — расположение стреляющей батарее, учил он и многому другому, необходимому в этом сложном военном ремесле. Он показывал молодым солдатам свой знаменитый в роте маскировочный плащ, который он сам обшил ветками и корой и в котором, как мы уже знаем, его действительно можно было не заметить даже в двух шагах.

— Фашист — зверь хитрый, пуганный, сторожкий, его надо с умом брать, а потому дело наше — самое из всех тихое, — говорил он молодым бойцам.

Сам он руководствовался этим же правилом и до того умело, что иной раз невольно и своих обманывал.

Раз по нем чуть не заплакала вся рота.

Приказал ему командир срочно взять «языка». Получены были агентурные данные, что противник здесь что-то затевает, и поступил сверху приказ для перекрытия этих данных добыть «языка» и как можно скорее. Дядя Чередников молча выслушал приказание. На вопрос: «Понял?» — рубанул по обычаю:

— Так точно, товарищ капитан.

Развернулся налево кругом, плаща своего знаменитого не забрал, а взял винтовку и пошел на передний край, никому не сказавшись и даже друга своего Валентина Уткина не предупредив.

Очень уж требовался «язык». Должно быть, поэтому, не до-

ждавшись даже, пока стемнеет, дядя Чередников переполз рубеж обороны и, глубоко зарываясь в снег, стал двигаться к немецким окопам так ловко, что и свои, следившие за ним, скоро потеряли его из виду. Но шагах в двадцати от неприятеля что-то с ним случилось. Он вдруг привстал. Слышали бойцы в секретах, как у немцев рвануло несколько автоматных очередей. Видели, как, широко вскинув руками, упал навзничь разведчик. И все стихло. В сгущавшихся сумерках на месте, где он упал, было видно неподвижное тело с нелепо поднятой рукой.

Немцы попробовали подползти к труп, но наши сейчас же открыли огонь и отогнали их.

Весть о том, что убит дядя Чередников, быстро дошла до роты. Прибежал Уткин в маскхалате, белый, как халат, взглянул на неподвижное тело с поднятой рукой и тут же полез через бруствер. Едва его удержали, да и не удержали бы, уполз бы за другом, может быть, себе на беду, если бы сам капитан не приказал ему вернуться и дожидаться темноты.

Весь вечер Уткин сидел с бойцами боевого охранения, тянул из фляги спирт, не таясь, ладонью стирал со щек слезы и все твердил:

— Ох, человек! Вот человек! Где вам понять, что это за человек за такой был дядя Чередников!..

Когда сгустилась тьма и запуржило в полях, капитан разрешил ему, наконец, ползти за телом друга. Уткин перемахнул через бруствер и, миновав заграждение, двинулся вперед. Он полз долго, осторожно, локтями опираясь о скользкий наст... Вдруг сквозь шелест летящего снега услышал он тяжелое, приглушенное дыхание. Кто-то полз ему навстречу. Уткин притаился, замер, тихо вытащил нож, ждет. И вдруг слышит знакомый, хрипловатый шепот:

— Кто там? Не стреляй: свои. Пароль — «миномет». Чего притаился, думаешь, не слышу? Мелко плаваешь, сахарницу видно. Помогай тащить, ну!

Оказывается, дядя Чередников, понимая важность задания, решил на этот раз рискнуть. А расчет у него был такой: незаметно приблизиться к немецким окопам, нарочно дать себя обнаружить, упасть до выстрелов, притвориться мертвым и ждать, пока с темнотой кто-нибудь из немцев не направится за его телом. И вот на этого-то немца напасть и взять его.

— Я с ними третью войну дерусь. Повадки их мне известны. Нипочем им не стерпеть, чтоб труп не обшарить, — пояснил он потом товарищам...



После этого случая сам генерал, командир дивизии, которому Чередников очень угодил «языком», вручил ему сразу — за прошлые дела медаль «За отвагу», а за это — орден Красной Звезды.

Ох и праздник же был в роте! Хватив в этот день сверх положенной фронтовой нормы, неразговорчивый Чередников расчувствовался, вернул Валентину Уткину заветный кисет с наказом не драть носа перед старым служивым, а потом принялся рассказывать товарищам, как совсем еще желторотым новобранцем участвовал он в брусиловском наступлении в 1916 году, как бежали под русскими ударами немцы по Галиции и как вызвался он, Чередников, с партией лазутчиков проникнуть во вражеский тыл. Собственноручно взял он тогда в плен, обезоружил и привел к своим австрийского капитана и получил за это свою первую боевую награду — Георгиевский крест. Рассказывал он еще, как бежали немцы от Красной Армии на Украине в 1918 году и как гнали их красные полки, наступая на пятки. С группой разведчиков ходил тогда Чередников к неприятелю в тыл. Они отбили у него штабные повозки, полковую кассу и автомашину с рождественскими подарками, захватили важные документы. И за это сам командир дивизии подарил Чередникову серебряные часы.

Старый разведчик вытащил из кармана эти большие толстые часы, на крышке которых были выгравированы две скрепленные винтовки и надпись: «За отменную храбрость, отвагу и усердие». Часы ходили по рукам, и когда они вернулись к хозяину, тот задумчиво посмотрел на циферблат.

— Ох и ходко сыпали они тогда от нас, ребята! Аллюром три креста, только глушители себе руками прикрывали... И теперь побегут, скоро побегут, уж вы верьте старому солдату. Потому — тогда мы были кто? Какие мы были? А теперь — кто? Какие мы теперь, я спрашиваю?.. Тогда-то до Берлина мы за ними не добежали, сил не хватило, а теперь, ребята, будьте ласковы, без того, чтобы трубку вот эту о какое-нибудь берлинское пожарище не раскурить, домой не вернуться. Может, думаете, хвастаю? Ну, попробуй скажи кто, что хвастаю?

И никто этого не сказал, хотя говорил это старый солдат, когда войска наши еще штурмовали Великие Луки и до Берлина было ох как далековато.

**В** заметном снежном прифронтовом овражке, огражденном от ветра и взоров неприятельских наблюдателей порослью невысокого лохматого соснячка, где наступавший батальон делал короткий привал, я стал свидетелем такой любопытной сцены. Три бойца-казаха, коренастые, широколицые парни в мешковато сидевших шинелях, примостившись поодаль от других у разлапистого корневища вывороченного снарядом дерева, варили на костре кашу из пшеничных концентратов. Один внимательно следил за кипящим котелком, помешивая кашу можжевельным прутом, другой подкидывал в костер сухой валежник, а третий, уже немолодой, морщинистый, рябоватый, сидел на корневище, держа винтовку на коленях, и задумчиво смотрел в огонь, с шипением, треском и воем пожиравший сухие ветки.

И вдруг он начал тихонько покачиваться и завел резким фальцетом степную протяжную песню, звеневшую однообразно, как ветер в верхушках сосен. Он пел все громче и громче, мерно раскачиваясь, пристукивая в такт ногами по прикладу винтовки, закрывая глаза на высоких нотах.

— Знаете, о ком он поет? О майоре Малике Габдуллине. Вы о нем слышали? Герой Советского Союза, он на днях побывал тут у нас в батальоне,— пояснил лейтенант Климов, сухощавый, жилистый человек, с обветренным, огрубевшим от зимнего загара, но все еще юношеским, живым лицом. Наклонив набок голову, он прислушивался к песне и постепенно на-

чал переводить: — Он поет, что Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис, что у него ухо джайрана и он слышит врага за много верст, что у него глаз беркута и он видит врага, как бы тот ни прятался, что его рука не устает убивать фашистских шакалов, и такая это рука, что чем крепче она их бьет, тем больше наливается она силой... Он поет, что от одного вида Малик-батыра противник обращается в бегство.

Песня журчала, как лесной ключ, тихая, чистая и, казалось, неиссякаемая. Как магнит, влекла она к себе бойцов и командиров — казахов. У костра уже стояла внимательная, задумчивая толпа, но солдат-джерши так увлекся своей песней, что никого не замечал. Круглое лицо его покрылось первным румянцем. Порой он весь вытягивался, точно слушая что-то, что звучало в воздухе для него одного, и пересказывал это для всех. Песня увлекла даже нас, не понимавших слов, а казахи слушали с таким вниманием и были так ею поглощены, что не замечали, как уходит из котелка закипевшая каша, как шипит она в угольях затухающего костра, распространяя кругом сытный запах пригоревшего пшена.

— Он поет о том, как любят Малика казахские степи, как все отцы завидуют его отцу, как все матери чтят мать, родившую такого сына, как девушки видят его во сне и поют о нем песни. Он поет, что Малик ходит сейчас по окопам, неся слово партии, и что речь его понимают бойцы всех народов, потому что она проникает в душу. Он поет, что сам он видел Малика и слышал Малика и что Малик сказал им: если они будут хорошо воевать, то в родных степях о них сложат вечные песни, как поют сейчас о богатырях прошлого — Кобланды и Махамбете.

Песня оборвалась вдруг на высокой ноте. Певец смолк, усталый, смущенный. Но еще не скоро рассеялось обаяние его импровизации, не сразу разошлась солдатская толпа, не сразу его товарищи, опомнившись, схватились за котелок спасать остатки выкипевшей каши.

— А вы знаете, мы ведь сейчас присутствовали при рождении нового эпоса, — взволнованно сказал лейтенант Климов. Застенчиво улыбаясь, он признался, что песня эта напомнила ему совсем недавние дни, когда он преподавал литературу в одной из алма-атинских школ, во время каникул разъезжал по степи, записывая такие песни. — Вот так и возникает новый эпос Отецественной войны, — добавил он. — Вы майора Габдуллина не знаете?

Я знал Малика Габдуллина. Не раз приходилось встречаться с ним на фронтовых ночлегах, и от него самого и его това-

рищей мне была известна не содержащая, впрочем, ничего сказочного, но действительно интересная биография этого офицера.

Конечно, ни отец Малика, неграмотный колхозный скотовод Габдулла Элемесов, ни сам он, советский юноша, из пастуха выросший в доцента, в известного на своей родине фольклориста, опубликовавшего уже несколько работ, никогда и не думали, что сам он, Малик Габдуллин, при жизни станет героем казахской былины.

В момент объявления войны Малик был поглощен работой над кандидатской диссертацией. Она была уже готова. Его друзья по институту, литераторы и языковеды, одобрили ее. Оставалось только стилистически отшлифовать. Но в Алма-Ате начала формироваться коммунистическая дивизия. Лучшие люди города шли в нее добровольцами. Малик отложил любимую работу, в которую он вложил больше двух лет труда, явился в райком партии, попросил снять с него «бронь» и послать на фронт рядовым бойцом. Время было трудное, с ним не стали спорить. Молодой ученый получил форму, котелок, вещевого мешок и полуавтоматическую винтовку. Учили военному делу ускоренно: фронт требовал новых и новых резервов.

В разгар немецкого наступления на Москву Габдуллин в составе своей дивизии прямо с колес попал в бой, и глинистый мерзлый окоп, неумело и наспех отрытый на крутом берегу речки Рузы, стал для него первым курсом военной школы. Рота, где Малик был политруком, растянулась повзводно по восточному берегу реки. Взвод, в котором ему пришлось заменить убитого командира, оборонял левый фланг. Приказ был получен категорический — не пускать немцев за речку, держаться любой ценой. Позади была Москва.

Первый бой, проведенный Маликом, был очень напряженным. Он продолжался весь день почти без перерыва. Рота противника, имевшая, по-видимому, столь же категорический приказ наступать, старалась перейти речку вброд на участке его взвода. Ее подпускали, давали солдатам втянуться в воду, потом поливали сверху пулеметным огнем, и черная, холодная, курившаяся парком осенняя река тихо уносила вместе с шестистящим «салом» тела врагов.

Так повторялось несколько раз. С каждой новой атакой Малик Габдуллин, до тех пор знавший войну только по книгам да кинофильмам, все уверенней чувствовал себя в необычной для него роли командира. Приказы его становились яснее, решительнее, тихий голос звучал требовательнее, жестче.

Вечером, уже в сумерках, отбив последние атаки и заставив остатки неприятельской роты убраться с гребня противоположного берега, он послал связного доложить командиру роты, что задание выполнено и он ждет приказа. Нервный подъем схлынул, Малик чувствовал большую усталость, настороженно и опасливо вглядывался в тьму. Не без удивления слышал он то, на что днем в сумятице не обращал внимания. Перестрелка, гулко раздававшаяся в тишине, шла почему-то у него за спиной. Он был еще неопытен и так и не понял, что это значит. Связной же до рассвета не вернулся.

Тогда Малик вызвал сержанта Коваленко, человека огромного роста, недавнего председателя одного из передовых в Казахстане колхозов. С ним Малик подружился еще в эшелоне и полюбил его за спокойный, рассудительный оптимизм.

— Максим Данилович, — сказал он, обращаясь к нему еще по-штатски. — Сходи, друг, на КП. Что они там спят? Ни связи, ни приказа. И узнай еще, что это там за стрельба такая у нас за спиной.

— Схожу, товарищ Габдуллин, — так же по-штатски ответил сержант. — Только, сдается мне, неважнецкие у нас дела. Стрельба-то эта очень мне не нравится.

Часа через два Коваленко вернулся бледный, в изорванной шинели, с головы до ног перепачканный в глине, и молча протянул Малику окровавленный партийный билет. Тот с трудом раскрыл слипшиеся корки — это был билет командира роты. Немцы прорвались за реку и потеснили правофланговые взводы. Командир роты погиб, захваченный врасплох вражескими автоматчиками. Труп связного Коваленко видел на дороге. Чтобы вернуться на позиции, сержант с километр полз в тумане по мерзлой пашне, пробираясь межой уже мимо немцев.

— Как быть, командир? — спросил он, грея над костром посиневшие и исцарапанные руки.

Вчерашний ученый еще не потерял привычки все тщательно анализировать. «Чем я располагаю сейчас?» — спросил он себя. Во взводе осталось сорок три бойца. Продукты, выданные на сутки, на исходе. Люди докуривают последние крошки табаку, вытряхивая их из уголков карманов. Немцы зашли с тыла. Кто знает, далеко ли им удалось уже прорваться за речкой? Отходить? Но вчерашний бой против целой роты, бой, в котором только что брошенный в войну взвод вышел победителем! Минувший день уже сделал Малика военным человеком. Последний приказ, полученный им тридцать шесть часов назад, требовал держаться до последнего. Приказ есть приказ.

— Строить круговую оборону, товарищ старший сержант, — ответил Малик другу тоном приказания.

И застучали ломы, заскрежетали лопатки о мерзлую глинистую землю.

Весь следующий день взвод сражался. Немцы подвели к берегу три машины с пехотой. Сидевший на сосне наблюдатель своевременно доложил об этом. Бронебойщики, крепкие ребята из алма-атинских слесарей, пробравшись в тальник к самой воде, сумели зажечь машины на ходу, прежде чем те успели даже остановиться. Пулеметчики ударили по пехотинцам, прыгавшим из-под занимавшихся огнем брезентов. Это сошло гладко. Случай щадил пока необстрелянный взвод. Но скоро ему пришлось туго. Решив, очевидно, что они имеют дело не с горсткой людей, а с крупным подразделением, осевшим на приречных рубежах, немцы изменили тактику. Они сковали взвод редким огнем и оставили его в покое. В то время как остатки немецкой роты перестреливались с людьми Малика, не давая им подняться из окопов, прижимая их к земле, другое подразделение перешло речку выше по течению.

Обнаружилось это внезапно. Послышался за спиной ляг гусениц, и Малик увидел танк. Танк незнакомых еще очертаний, с белым крестом, грузно колыхаясь, поплеывая на ходу снарядами, брел через поле, проламываясь сквозь кусты ольшаника и явно стремясь зайти в тыл позиций взвода. Его стальной тушей прикрывались автоматчики. Часть их сидела на броне, часть, ведя беглый огонь, бежала позади танка.

— Приготовить гранаты!.. По пехоте частый отсечный огонь! — едва успел скомандовать Малик, мучительно старавшийся вспомнить, что в таких случаях полагалось делать по боевому уставу пехоты.

Он взял винтовку из рук убитого красноармейца и сам по ходу сообщения, пригибаясь к земле, побежал туда, куда шел танк.

Но прежде чем слова команды были переданы по цепи, бойцы на правом фланге уже сами завязали перестрелку. Танк дошел до переднего окопа, остановился и неуклюже завертелся над ним, стараясь, очевидно, раздавить людей, сидевших в узкой земляной щели. Это был тяжелый танк. Бронебойщики ударили по нему, но снаряды их с пронзительным визгом отскакивали от стального панциря, высекая снопы искр. Немецкие автоматчики стремились проскочить в глубь позиций.

На мгновение Малику показалось, что дело безнадежно, что стальная машина неуязвима и что ничто уже не может спасти

положение. Он даже расстегнул кобуру пистолета. Что же, он готов с честью умереть, сражаясь, как надлежит советскому человеку! Но в следующую минуту он убедился, что на войне не бывает безвыходных положений.

Из головного окопа, того самого, на котором, скрежеща гусеницами и чадя синим дымом, вертелся танк, на миг высунулся по пояс парторг роты Василий Кондратьевич Шашко.

Это было только мгновение, но Малик видел, как он, крича что-то, взмахнул рукой. Раздался взрыв. Тяжелая машина вскинулась в столбе огня и земли, остановилась, потом, поврежденная, но еще страшная своим огнем, дернулась вперед. Тогда из раздавленного окопа еще раз поднялась уже окровавленная голова Шашко. Он снова взмахнул рукой. Откуда-то из-за танка рванулся в небо черный столб. Взрыв встряхнул землю, и вдруг стальная машина вспыхнула, вспыхнула буйно, клочковатым, чадным пламенем, точно отлита она была из целлулоида, а не из стали.

— За товарища нашего, за парторга нашего, за Василия Шашко! По пехоте огонь! — крикнул Малик, снова и снова нажимая спусковой крючок своей винтовки.

Он стрелял, меняя обоймы и обливаясь потом, до тех пор, пока вражеские автоматчики, зацепившиеся было за передние окопы, не побежали прочь. Тогда Малик, позабыв об опасности, выскочил из окопа. Он не видел разрывов, не слышал злого чириканья пуль, ничего не слышал. Он поднял над головой винтовку, потрясая ею, и вдохновенно кричал:

— По отступающим! За Шашко! За Василия Кондратьевича! Огонь! Огонь! Огонь!

Его вдохновение передалось бойцам, они забыли усталость, страх и открыли такую стрельбу, как будто это были не остатки измученного, поредевшего взвода, а по крайней мере свежая рота.

Еще сутки продержался взвод Малика в окружении. Немцы, развивая успех, уходили от речки все дальше и дальше, выставив против горстки упорствующих людей небольшие заслоны. Солдаты доели сухари, курили древесный мох, достреливали последние обоймы. Во взводе осталось всего двадцать два бойца, а линия фронта отодвинулась на восток уже так, что звуки артиллерийской канонады едва доносились оттуда, как шум далеко идущего поезда. Держать позицию становилось бесцельным. Малик решил прорвать кольцо заслона и пробиваться к своей дивизии.

Ночью похоронили убитых, забрали их оружие и партий-

ные билеты. Когда под утро морозный туман закутал неубранные, помятые войной поля, солдаты по одному выскользнули из вражеского кольца, точно растаяв в промозглом воздухе.

Вошли в лес, выстроились, сделали перекличку. Малик, объявив, что будет пробиваться к своей дивизии, скомандовал «Вперед!» — и люди пошли на звук далекой канонады.

Три дня лесами, болотами, без дорог, ориентируясь по компасу и грому далеких пушек, вел Малик свой взвод. Солдаты, у которых четвертые сутки не было во рту и крошки, двигались, сохраняя боевой порядок, выбросив вперед разведку, выставив на фланги дозоры. Несли и катили пулеметы. На плащ-палатках, прикрепленных к палкам, по очереди несли раненых. И к этому маленькому отряду, в котором командир суровой рукой сохранял дисциплину, стягивались и приставали, как железные опилки к куску намагниченной стали, бойцы и командиры отступивших частей, в одиночку выходившие из окружения.

На третий день пути в отряде Малика было уже сто восемьдесят семь бойцов при двенадцати станковых и двадцати ручных пулеметах с достаточным количеством боеприпасов, но без куска хлеба и без крошки табаку.

Теперь главным врагом становился голод. Идти с каждым маршем было все труднее. Людей шатало, они еле плелись, и колонна растягивалась по лесу длинным, жидким хвостом. На привалах бойцы бросались на мерзлую землю, и стоило огромных трудов поднять их потом. Все громче и чаще стали раздаваться голоса, что всем вместе такой массой не выбраться, что лучше рассыпаться и выбираться поодиночке на свой страх и риск, что надо оставить раненых где-нибудь в деревне и избавиться хотя бы от пулеметов, предварительно их испортив. Косокто обессилев, стал потихоньку бросать оружие.

Малик скомандовал большой привал. В овраге созвал он коммунистов и комсомольцев. Он сообщил им свое решение любыми средствами, не останавливаясь ни перед чем, сохранить отряд и идти вперед. Сильные по очереди должны вести ослабевших, нести их оружие, раненых тащить на руках. Коммунисты и комсомольцы обязаны подавать пример. Паникеров и дезорганизаторов обещал расстреливать на месте. Штатский человек был еще силен в нем — свое решение он поставил на голосование. Все руки поднялись «за». Тогда Малик приказал коммунистам и комсомольцам к утру накипятить в котелках воды, отмыть походную грязь и копать костров, побриться, привести в порядок одежду, оружие.

На рассвете на лесной поляне, у стены сизых елей, был выстроен весь отряд. Малик скомандовал «Смирно!». Солдаты вытянулись и застыли. Но что это были за солдаты! В шинелях, разорванных и прожженных в дни лесных скитаний, с заросшими, закопченными у костров лицами, на которых из потемневших впадин лихорадочно сверкали глубоко запавшие глаза, они еле стояли на ногах. У некоторых подгибались колени, и они стояли пошатываясь, опираясь локтями о соседей. Но в этих измученных, усталых шеренгах своей энергией, своим подтянутым видом, умытыми, бритыми лицами выделялись сегодня коммунисты и комсомольцы, и среди них гигант Коваленко, ухитрившийся даже где-то разжиться ваксой и начистить свои кирзовые сапоги. Взгляд Малика на мгновение задержался на его больших, обутих в матово сверкавшие сапоги ногах, твердо стоящих на снегу, и ему стало вдруг весело.

— Мне сказали, что некоторые из вас думают, что надо отряд распустить и выбираться поодиночке. Может быть, верно, разойдемся? — Малик спросил, обводя усталые лица взглядом черных узких красивых глаз.

Солдаты смотрели на него удивленно, недоуменно, настороженно. Но на нескольких лицах он увидел сочувственное выражение, кое-кто подтверждающе кивнул головой, а один из вновь приставших к отряду бойцов, совершенно заросший, в крестьянском треухе вместо пилотки, что-то радостно зашептал соседям.

— Говорите громче, ну? — приказал Малик.

— Я говорю: верно, лучше бы рассыпаться. Разве такой оравой фронт незаметно перейдешь?.. А поодиночке, говорю, верно, легче.

По рядам прошел шумок. Малик понял, что этот маленький, совершенно потерявший военный облик за долгие дни скитаний по лесам солдат сказал то, что думали многие из тех, кто недавно пристал к отряду. Он стоял, зябко поеживаясь, и тихонько притопывал о землю разбитыми сапогами, на которых рыжела еще давняя грязь. Потом взгляд Малика снова притянули к себе матово сверкавшие сапоги сержанта Коваленко, его большие поги, покойно и прочно стоявшие на снегу. Он заметил метлу, валявшуюся возле. Должно быть, бойцы вчера разметали ею снег вокруг костра. И тут, думая о том, как ответить этому маленькому, измощенному скитаниями, дрожащему от холода бойцу, недавний фольклорист вспомнил старую сказку, существующую у всех народов. Он поднял эту метлу, вырвал из нее прут и, протянув его маленькому бойцу, приказал переломить.



Тот удивленно глянул на командира: дескать, не рехнулся ли человек от голода, однако подчинился и легко сломал прут. Малик дал ему метлу:

— Ломай!

Метла гнулась, но не поддавалась.

— Ну, ну, еще! — командовал Малик. Хриплый смех измученных людей слышался со всех сторон. — Нажимай, нажимай, не жалей сил!

— Нажми! Наддай! Что, не важит? — кричали со всех сторон бойцы и поглядывали на командира, начиная понимать, к чему он клоптит.

— Так вот и мы: пока вместе, пока у нас дисциплина, никакой враг нас не сломает, — пояснил Малик. И сурово добавил: — Первого же отбившегося от отряда расстреляю собственной рукой. Понятно? Стро-о-ойсь!

Вечером высланная разведка донесла, что на пути справа целая, не сожженная, но занятая противником деревня. Посланный в разведку Коваленко пропал до темноты и, вернувшись, доложил, что в деревне, по всей видимости, расположен какой-то тыловой интендантский пункт — склады, на улице много проводов, что, хотя укрепления и не открыты, деревня сильно охраняется, караулы выставлены во всех направлениях, однако они довольно беспечны и больше греются у костров. Пройтись мимо них можно. В заключение рапорта сержант вынул из кармана бутылку молока, краюху хлеба и протянул командиру:

— Откушайте, вам достал. Женщины на дорогу снабдили. Ох и ждут же нас!

— Отдай раненым, — сказал Малик, склоняясь над картой и делая вид, что пища его мало интересует, хотя от кислого хлебного духа у него потянулась во рту слюна и закружило голову.

Он решил атаковать деревню и с боем добыть продовольствие.

В плане штурма, который он придумал за ночь, внезапность и хитрость должны были восполнить недостаток сил. Под утро, когда в лесу еще было темно и деревья едва начинали выступать из сурового холодного мрака, в час, когда человеческий сон особенно крепок, отряд, обложивший деревню, обрушил на нее сразу огонь всех своих пулеметов. Потом, едва отгремело в лесу эхо выстрелов, бойцы с четырех направлений с криками «ура» рванулись вперед, смяли заслоны и уже на улице, в коротком штыковом бою решили исход боя. Немцы бежали, оста-

вив несколько десятков убитых, бросив свое добро, и немалое: продовольственные и оружейные склады; двадцать семь немцев сдались в плен. Малик приказал бойцам набить вещевые сумки продуктами и табаком, запас продовольствия погрузить на немецкие санки-лодочки, найденные на одном из складов, на санки же поставить и пулеметы, уложить раненых, а в санки впрячь пленных. Остальное облить бензином и поджечь.

Долго еще, пробираясь лесами, отряд видел позади дымные клубы, поднимавшиеся к облакам. На седьмой день похода, под вечер, сытые и прибодрившиеся бойцы из леса, с тыла, атаковали вражескую передовую, точно кинжалом пронзили фронт и почти без потерь прорвались как раз в расположение своей дивизии. Отряд привез с собой на саночках-лодках двенадцать станковых и двадцать ручных пулеметов. Многие из бойцов были вооружены трофейными автоматами. Было вынесено шестнадцать раненых и сданы коменданту пленные.

Кроме этого, гигант Коваленко принес в свой полк четырехлетнего мальчика Вову, которого они с Маликом нашли по пути среди черных пожарищ сожженной деревни. Сироту решено было взять с собой. Его несли по очереди на закорках, а в опасные моменты оставляли в кустах на попечение раненых. Так мальчуган этот совершил на плечах бойцов весь поход и был потом отправлен на попутной санитарной машине в Москву, где его сдали в детский дом.

Сам командир генерал Панфилов пожелал видеть Малика. В дни формирования дивизии, еще в Алма-Ате, он с сомнением опытного воина осматривал пришедшего к нему с путевкой райкома робкого щеголеватого ученого. Теперь хотел взглянуть, что из того получилось на войне. Хмурый генерал долго смотрел из-под сердитых бровей на тонкую фигуру Малика, на котором еще не улеглась как следует военная форма. Потом неулыбчивое его лицо оживилось и подобрело.

— Ай да собиратель сказок! Вот тебе ученый муж! Молодец! Хорошим солдатом будешь! — сказал он своим глухим, точно из бочки гудевшим голосом, привлекая к себе Малика и многократно, по-русски, целуя его.

Те, кто в эту минуту были подле них, рассказывали потом, что углядели они выражение настоящей отеческой радости на суровом, неприветливом лице легендарного теперь генерала.

Из этого — как в шутку называли его потом в дивизии — «голодного похода» молодой ученый вынес веру в себя, в своих солдат и в старую солдатскую истину, гласившую, что для от-

важного, умелого война нет безвыходных положений, что, и отступая, можно побеждать. Этот вывод он проверил в следующем своем крупном испытании, когда уже в период наступления командир полка направил Малика с тринадцатью автоматчиками в засаду — охранять самое острое клина, глубоко врезавшееся во вражеские расположения. Здесь ожидали контратаки, а так как полк, потерявший немало людей в последних боях, как говорится, приводил себя в порядок, засада эта должна была прикрыть его от случайностей.

Ночью Малик повел свой крохотный отряд. Для засады он выбрал удобный рубеж в кустах на берегу замерзшего ручейка, напоминавший ему позиции у Рузы, где он принял первый бой. Послав в дозор солдата Абдуллу Керимова, он приказал оставшимся бойцам всю ночь без отдыха рыть по ручью глубокие щели и организовать огневые точки. Солдаты ворчали на командира, которому не терпелось до утра. Но на рассвете, когда, маскируя уже отрытые ячейки, они присыпали брустверы снегом, прибежал Керимов и, с трудом переводя дыхание, сообщил, что пять танков и до роты пехоты скрытно движутся по долине, приближаясь к месту, где засели люди Малика.

Пять танков и сотня людей против тринадцати автоматчиков. Такое соотношение могло смутить и бывалого командира. Но Малик уже знал, что на войне успех решают не арифметические соотношения. Спокойным, даже обыденным тоном он приказал готовиться к бою, огнем автоматов отсечь пехоту от танков, без его команды не стрелять, передним приготовить противотанковые гранаты.

Сам Малик для верности привязал к трем гранатам по бутылке с зажигательной смесью, считавшейся в те дни у бывалых солдат самым верным противотанковым средством, и ползком пробрался в переднюю щель.

Танки остановились на опушке и пропустили пехоту. Не ожидая засады и полагая, вероятно, что они идут по ничейной земле, солдаты двигались толпой и пригибались лениво, больше для порядка. Малик приник подбородком к стылой земле бруствера и затаил дыхание. Немцы шли оглядываясь, но смотрели не в их сторону. Значит, они их не видели, не думали даже о них. Значит, надо подпустить как можно ближе. Чем громче грянут залпы, тем больше паники. Тем безопаснее, черт возьми!

Малик убеждал себя, но, вопреки этим доводам, ему хотелось дать команду стрелять немедленно, стрелять как можно скорее. «Выдержка, еще раз выдержка!» — убеждал он себя.

Уже слышно, как скрипит под подошвами немцев талый снег. «Выдержка, спокойствие!»

— Давай огонь, пожалуйста, давай огонь! — горячо дыша, шепчет в ухо командиру лежащий рядом с ним связной Керимов, томясь от нетерпения.

Еще немного. Еще чуть-чуть. Дать им всем выйти из леска на поляну. Ударить по всем сразу! Передние уже в нескольких шагах... Вот так!

— Огонь!

Кто-то из паступавших дико вскрикнул. Они оступились. Затрещали короткие очереди. Несколько солдат упало. Остальные залегли и бьют по кустарнику. Но это ничего, они лежат на снежной поляне. Их видно даже издали, как грачей на дороге.

— Огонь!

Автоматчики стреляют все энергичнее. Цель хорошо видна. «Не удержаться, не удержаться!» — убеждал себя Малик, страстно желая, чтобы скорее настал миг, когда немцы побегут. Число не пугает его. Солдат в окопе стоит десяти на открытой местности. И вот противник не выдержал. На четвереньках солдаты ползут назад. «Еще, еще!»

Автоматчики нажимают. Рокот очередей сливается в сплошной треск. Снежные фонтанчики прыгают по поляне. Точно над белым озером идет крупный дождь. «Ага, бежите, сволочи!»

— Ура-а-а!

Немецкий офицер в шинели с меховым воротником там, у сосны, размахивает пистолетом. Должно быть, пытается их остановить. Малик прижимается щекой к холодному прикладу винтовки затаив дыхание. Черная точка мушки блуждает около офицера. Так. Промазал. Но ничего, они бегут мимо офицера, они что-то кричат, показывая назад на кусты. Что это? В лесу строчат пулеметы. Чьи? Неужели наши? Ага, это немецкие заградители. Вот оно что! Малик уже слышал, что у немцев появились части, которые стреляют по своим, когда те, не выполняя приказа, бегут. «Ничего, ничего, спокойствие!»

Очутившись между двумя огнями, солдаты в длинных зеленых шинелях повернули и снова наступают. У них нет выхода. Напористо идут, передвигаются короткими перебежками.

«Только бы мои не дрогнули! Только бы не вышли из окопов! — думает Малик. — Только бы не дать понять, сколько нас тут!» Пули чирикают, как птицы, сбивая ветки, стряхивая иней. И почему-то бросается в глаза, что остроносые желто-

грудые синички, бесстрашно цвикая, суетятся в кустах. Им нет дела до боя.

Уже выбыл из строя зубоскал Гайсин, всегда имевший в запасе для друзей пару соленых шуток. Уже не стало хладнокровного добряка Куцевого, которого Малик помнил еще по эшелону. Упал на бок связной Керимов, упал, но тотчас же грудью лег на бруствер и опять взялся за автомат. Девять оставшихся держатся. И автоматы рокочут в кустах упрямо, деловито, и трудно понять, сколько их — десять... пятнадцать... сто...

Малик, гибкий, быстрый, раскрасневшийся, сверкая черными узкими глазами, горящими от возбуждения, ползает от одного к другому.

— Держись, еще немножко держись! Сейчас побегут!

Каждый из его людей все время чувствует его с собой рядом, слышит, как упруго стрекочет автомат командира.

— Сейчас, сейчас побегут!

И действительно, они побежали. На этот раз молчали и пулеметы заградителей. Должно быть, и там, в чужом штабе, сочли дальнейшую атаку бесполезной. Но зеленая ракета распорола белесый воздух. Что бы это значило? Ага, совсем рядом послышались хлопки. Минометная батарея! Мины с предостерегающим мяуканьем стали падать в кустах. Но не зря всю ночь трудились бойцы, долбя замерзший грунт. Они лежат теперь в узких щелях. Визжащие осколки косят над их головами кустарник, осыпают их прутьями, хвоей, мерзлой землей. Но они-то целы! Целы, черт возьми!

Минометы смолкли. Но нет тишины, слышится урчание моторов. Танки! Должно быть, те самые, о которых докладывал Керимов. Ну да, вот один высунулся из леса. Неужели их повернули назад, на помощь своим? Машины, тяжело воя, переваливают через край лощины.

Пять танков и рота пехоты против девяти бойцов и их командира! Отступать? Бежать? Нет, от танка не убежишь. Бежать — умереть. Сражаться! Отбить танки! В этом шанс выжить, победить. Все это мгновенно пронеслось в мозгу Малика в то время, как он, волоча за собой сумку с гранатами и привязанными к ним бутылками, полз по снегу, наперерез танкам.

Машины шли излюбленным немцами строем — углом вперед, и головная двигалась как раз туда, где за пеньком лежал Малик. На ходу танки эти вели огонь из пушек. Снаряды летели куда-то далеко через головы. «К чему это? Там же никого

нет. Шумовые эффекты?» — подумал Малик в мгновение, когда вырывал гранату из сумки. И еще мелькнула мысль: «Они стали бояться».

Машина неслась прямо на него. Он уже различал каждую царапину на броне. Отчетливо мелькнул в его сознании парторг Шашко, величественный и прекрасный в своем самоотверженном боевом вдохновении. В это мгновение машина с грохотом прошла мимо так близко, что отполированный трак чуть не отдал руку. Малик отскочил. Разогнувшись, как пружина, он привстал. Граната с привязанной бутылкой угодила в радиатор машины.

Взрывная волна толкнула Малика в грудь, отбросила в сторону, это спасло его от гусениц второй машины, повернувшей прямо на него. Он не потерял сознания, но бросать гранату было уже поздно, не было времени размахнуться. Тогда Малик почти подsunул ее под гусеницу и, отпрыгнув, прильнул к земле. Взрыв был так силен, что танк почти перевернуло на бок. Плюхнувшись назад, он остановился, и сразу же желтое, липкое, невысокое пламя побежало по его стальному боку, стало карабкаться к башне. Это вслед за гранатой делала свое дело бутылка.

Оглушенный Малик, ощущая, что все тело его покалывает, словно электрическим током, снова схватился за сумку. Но что это? Три машины затормозили, разворачиваются торопливо, толчками. Против кого? Против своих? Да нет же, они идут обратно. Они отступают! И когда это дошло до сознания, Малик без сил упал на землю. Прикосновение к снегу привело его в себя. Двое бойцов, пластаясь по земле, волокли его в кусты.

— А мы думали, вас в лепешку! — говорил один из них, тот, на чьих плечах лежал Малик.

— Давай, давай неси, вон они опять рылом к нам повертывают, — торопил другой, помогая ему.

Очутившись в кустах, в окопчике, Малик сел. Все тело ныло, дрожало мелкой дрожью, острое покалывание становилось мучительным. Мокрое белье липло к лопаткам, связывало движения. Малик осмотрел, ощупал себя. Нет, не ранен, цел. Жадно проглотил комок снега. Как от загнанной лошади, от него поднимался парок.

Но, несмотря на боль от контузии, все в нем ликовало. Это он, он, человек, победил пять танков! Таковую силищу! И опять перед глазами остро, отчетливо, точно живая, мелькнула фигура парторга Шашко.

— Товарищ командир, седайте в окопчик, опять палить начали,— предупредил его кто-то.

Танки, отойдя на приличную дистанцию, открыли огонь. Из леска снова принялась бить минометная батарея. В дисках у автоматчиков оставалось по пять—десять патронов. Ясно было: нужно отходить. Но путь к своим преграждали эти танки, стоявшие на опушке. Малик посмотрел на карту. Потом, для себя, решительно прочертил линию в сторону, противоположную от своих позиций, прямо в лес, на немецких минометчиков. Он рассчитал, что будет правильнее лесом сделать круг и в обход вернуться к своим. Он знал, что солдаты беззаветно верят теперь ему, знал, что они выполнят любой его приказ.

На четвереньках проползли они по руслу замерзшего ручья до лесной опушки, до того самого места, где в кустах на удобных, аккуратных позициях, обливаясь потом, трудились неприятельские расчеты, посылая мину за миной в кусты, где теперь никого уже не было. По молчаливому сигналу Малика под шум выстрелов бойцы бросились на минометчиков, последними патронами расправились с ними, взяли их личное оружие, даже их документы и, испортив минометы, скрылись в лесу.

Лесом они сделали большой крюк по самой чаще и в расположение полка пришли уже спустя много времени. Когда Малик без доклада приподнял полог командирской землянки, командир полка подполковник Карпов и его комиссар Мухомедьяров, сидевшие за столом, оглянулись и вдруг вскочили с табуреток. Они уставились на Малика, стоявшего в проходе в изорванном, окровавленном маскхалате, и на лицах их застыло удивление.

— Габдуллин? — тихо спросил наконец командир.

— Малик, родной! — бросился к нему комиссар, старый его алма-атинский товарищ.

— Я... Что вы удивляетесь, что с вами? Да скажите, что случилось? — спросил в свою очередь Малик.

Командир взял со стола бумажку, которую они, видимо, только что читали, и протянул ему: «В бою под деревней Ширяево геройски погибли 13 бойцов-автоматчиков нашего полка, находившиеся в засаде во главе с политруком Габдуллиным Маликом. Как донес разведчик, они сражались до последнего дыхания. В неравном бою они уничтожили два немецких танка и 150 гитлеровцев». Бумажка была подписана командиром пятой роты Аникиным и отсекром комсомольского бюро полка Джеджибаевым.

— Что это значит? — спросил командир.

— Мы тут сидим и горюем,— добавил комиссар.

— Тут все правильно, кроме того, что мы погибли,— устало улыбнулся Малик, которого клонило в сон так, что он с трудом поднимал отяжелевшие веки.

— Побольше бы таких покойников,— не очень ловко сострил комиссар полка.

Он полез под топчан, порылся в чемодане и, достав со дна бутылку коньяку, бережно завернутую в новые портянки, поставил на стол.

— Как уезжали из Алма-Аты, жена дала на дорогу,— пояснил он.— Слово себе дал бутылку эту спрятать и выпить в день победы. Вот и таскал с тех пор. Разопьем, что ли, по такому случаю? За твоё воскресение, Малик!

Сбывались слова генерала Панфилова, старого война, знавшего толк в боевом искусстве. Ученый-фольклорист, кабинетный человек, на глазах вырастал в искусного командира. И хотя внешне он оставался прежним худощавым городским юношей с красивым смугловатым и тонким, точно выточенным из старой слоновой кости лицом, с узкими и длинными руками интеллигента, он стал выносливым и неприхотливым солдатом, суровым к себе, требовательным к подчиненным.

Он командовал уже ротой разведчиков. Когда роту эту после боевых дел отводили на отдых, он и тут не давал покоя своим людям. Ежедневно с утра до ночи он учил бойцов-казахов ходить на лыжах, сам вместе с ними овладевал этим чуждым для его народа и потому особенно трудно дававшимся ему искусством. Никудышный стрелок в начале войны, он в редкие дорогие минуты боевого отдыха, когда его товарищи командиры, попарившись в бане, отсыпались, уходил в лес и один часами учился целиться и стрелять, пока не научился первой пулей сбивать с ели шишку. Он был награжден уже орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Его разведчики славились на всю армию. Их известность росла по мере наступления. Раненые, уезжавшие на отдых в родные края, письма бойцов панфиловской дивизии, посылаемые на родину, несли его славу из холодных калининских лесов в далекий Казахстан. О нем говорили уже в колхозах. Старики сравнивали его с легендарными героями прежних дней. О нем сочиняли стихи. Сам того не подозревая, становился он героем степных народных песен, какие он когда-то собирал с такой любовью и старанием.

Зимой 1942 года его дивизия наступала в авангарде армии.

Авангардом дивизии шел полк Карпова, а в боевом охранении полка двигались на лыжах разведчики Малика. Дивизия, прорвав вражеский фронт и огибая его, зашла в тыл неприятельским частям. Ей предстояло замкнуть кольцо окружения за спиной одного из крупных немецких соединений, упорно оборонявшегося в лесах. Острые клещей почти сошлись. Осталась узкая горловина. В центре ее, как замок, была сильно укрепленная деревня, в которой находился немецкий штаб. Нужно было взять эту деревню и зажать горловину.

На эту операцию решено было бросить первый батальон и роту разведчиков Габдуллина. Они должны были, сделав широкий обход по лесам и болотам, внезапно ударить по деревне, захватить ее в немецком тылу и держать до прихода основных сил дивизии. Люди Малика, закаленные долгими, утомительными тренировками, легко проделали трудный лесной переход. Малик дал отдохнуть отряду, потом созвал бойцов и приказал им сбросить вещевые мешки, освободиться от всего лишнего.

— Позавтракаем трофейными закусками, — сказал он.

К двенадцати вся рота сосредоточилась на опушке леса вблизи деревни. Малик посмотрел на часы. Атака была назначена на двенадцать пятнадцать. Но батальона, с которым он должен был взаимодействовать, еще не было.

Уже давно был послан лучший лыжник для связи. Тянулись томительные минуты. Наконец лыжник вернулся и доложил, что батальон идет без лыж целиной, движется медленно, с трудом протаптывая путь в глубоком снегу, и будет, по-видимому, не раньше чем часа через три. Все было рассчитано на внезапность. Деревня была крепким орехом, окружена дзотами, закопанными в землю танками. В случае, если бы неприятель узнал о том, что ему грозит, и привел бы в действие всю мощь своей огневой системы, его трудно было бы опрокинуть даже силами дивизии.

Опыт учил Малика ценить в такой обстановке каждую минуту. И он решил атаковать деревню своими силами. Людей он разбил на четыре неравные группы. В одну собрал всех физически слабых и неопытных. Им были выданы все имевшиеся в роте диски, заряженные патронами и трассирующими пулями. Они должны были подобраться к деревне по лесу с направления, откуда немцы могли предположить атаку. Им было приказано, устроившись поудобнее, ровно в час открыть по деревне частый огонь и вести его, постоянно меняя позиции. Тем временем две группы лыжников под командой старшего сержанта Тимонина и сержанта Монахова должны были, по воз-

возможности без выстрелов, подобраться к деревне с флангов и, прорвавшись во вражеские траншеи, захватить дзоты с тыла. Сам же Малик с основной атакующей группой решил ворваться в деревню и тут добивать врагов в домах и на улицах.

Этот план атаки значительного гарнизона, да еще сидящего за мощными укреплениями, силами одной роты кажется теперь, из мирного сегодня, чем-то совершенно невероятным. Но, как бы там ни было, этот план, выработанный командиром, крепко верящим в себя и своих людей, был в тот день разыгран, как по нотам. И когда, наконец, часа через два к месту схватки подоспел подтянувшийся батальон, автоматчики Малика уже заканчивали бой, выковыривая врагов из последних дзотов, вылавливая их на чердаках и в подвалах.

Малик сидел в разбитом гранатами доме немецкого штаба, читал захваченные документы, а один из его бойцов, бывший слесарь Ленинградского механического завода Мартынов, возился у двух несгораемых шкафов и, обливаясь потом, ругал упрямую немецкую технику. Впрочем, он все-таки вскрыл эти шкафы. В одном оказались дислокационная карта района, важные штабные бумаги и много фальшивых советских денег. Другой был полон коробками с Железными крестами, предназначенными к отправке в части, окружение которых завершила рота разведчика Малика Габдуллина.

Так, от дела к делу, от боя к бою, продолжал воевать молодой ученый-фольклорист, сам вырастая в героя изустных легенд и песен своего народа. И когда слава его прошла по фронту, его, боевого командира, чуткого политработника, лингвиста, свободно владеющего русским, казахским, киргизским, узбекским, каракалпакским, татарским и немецким языками, назначили агитатором для работы с бойцами нерусских национальностей. И он стал ездить по частям, неся бойцам слово большевистской партии...

Должно быть, об одном из его недавних выступлений здесь, в батальоне, и спел только что солдат-держиш.

Мы молча сидели у потухшего костра. Последние угли погасли под пеплом. Стемнело. Холодные, острые звезды зажглись в бархате неба, кое-где тронутого багрянцем пожарниц. А песня все еще звучала, и не хотелось шевелиться, чтобы не спугнуть обаяние раздольной степной мелодии.

— Вот так и рождаются легенды,— тихо произнес лейтенант Климов, отвечая на какие-то свои мысли.

*1943 г.*

**П**ускали третью турбину гидроэлектростанции Кегум на широкой, раздольной реке Даугаве, катившей свои воды в низких травянистых берегах через поля и леса Латвии. Для маленькой молодой советской республики завершение этой стройки было настоящим народным торжеством. Города и села прислали на него свои делегации. Съехалось республиканское начальство. Наступало самое торжественное мгновение. Инженер-латыш, высокий, костистый, с белесой головой и умным грубоватым крестьянским лицом, положил руку на рубильник, чтобы включить ток новой турбины в сеть. Огромным светлым залом овладела тишина, нарушаемая лишь напряженным пением машин и сухим тиканьем стенных часов.

В этот момент мне бросилось вдруг в глаза чье-то будничное, озабоченное лицо, показавшееся почему-то очень знакомым.

Невысокий человек в военной гимнастерке без погон, в стареньких армейских шароварах, заправленных в поношенные, но до блеска начищенные кирзовые сапоги, стоял поодаль от гостей и хозяев и, не то машинально, не то чтобы скрыть волнение, рукой обтирал и без того сияющий кожаную новую машины.

Ну да, я где-то уже видел это сухое, угловатое лицо, некрасивое, но и не обыденное, изборозженное глубокими морщинами. Знакомо было не столько лицо, сколько руки этого человека, небольшие, но сильные, с короткими подвижными пальцами,

уверенные, искусные рабочие руки, вот и теперь, в момент najwyżшего торжества строителей, что-то шарившие по блестящему металлическому кожуху. Где мы с ним встречались?

На аккуратно выглаженной гимнастерке среди других наград — ленточки двух орденов Славы. Значит, воевал солдатом. Черно-изумрудная ленточка за взятие Кенигсберга указывала, что воевал он в этих местах, стало быть, на Прибалтийском, а до этого, возможно, на Калининском фронте. Видимо, там и встречались. Но когда, где? С тех пор прошло уж немало лет.

Из-под кустистых русых бровей узенькие серые глаза его смотрели умно и остро. И эти глаза, их зоркий взгляд тоже были знакомы.

Я тихонько спросил у одного из строителей:

— Кто это?

Тот удивленно оглянулся:

— Не знаете? Это ж и есть Николай Харитонов, наш знатный человек, один из лучших бригадиров.

Николай Харитонов! И сразу вспомнилось тяжелое лето 1942 года. Проливные дожди, сковавшие на дорогах технику. Трудное наступление на Ржев. Упорные бои на окраине в военном городке, в массивных каменных домах поселка, которые противник превратил в настоящую крепость. Вспомнилось, что четыре таких дома, лежащие параллельными прямоугольниками по одну сторону шоссе, мы звали «полковник», потому что на плане напоминали они четыре «шпалы» полковничьих петлиц тех дней, а три дома по другую сторону шоссе по той же причине звали «подполковник». «Полковник» был тогда у немцев, «подполковник» — у нас. И тут, на маленьком пространстве, на одной-единственной короткой улице шли кровопролитнейшие бои большого напряжения.

Дрались не только за каждый дом или каждый блок — за каждую комнату в квартире, за каждую лестничную площадку. И в сводках из дивизии в штаб армии так и писали дневные итоги: «В результате ожесточенного боя на северном участке авиагородка заняты квартиры два и три в первом блоке, первой «шпалы полковника».

Вот в эти-то дни и прошла по всему Калининскому фронту слава сапера Николая Харитонова.

Говорили о нем всякие чудеса. В первый же день моего появления в авиагородке мне рассказали, что он ночью с толовыми шашками, надев валенки, чтобы бесшумно ступать, тихий, как привидение, перебирался через дорогу из «подпол-

ковника» к «полковнику», так же бесшумно закладывал в каком-нибудь уголке кипевшего немцами дома сильный фугас, зажигал шнур и исчезал, точно таял в ночи. А потом, через положенное время, раздавался взрыв, пехотинцы бросались вперед, в пролом и, пока еще не осели облака дыма, пыли и штукатурки, пока оглушенные враги не пришли еще в себя, занимали несколько комнат или квартиру.

Так, расчищая фугасами путь пехоте, Николай Харитонов искусной рукой делал то, что на этом участке оказалось не под силу ни авиации, ни артиллерийским батареям. Тогда-то в подвале одной из «шпал подполковника» и увидел я впервые этого человека с прекрасным умным лицом, с неустанными, неугомыми рабочими руками.

Саперы спали, сломленные усталостью, скованные тяжелым окопным сном. Из всех углов подвала неслись разноголосый храп, наполнявший густыми звуками помещение. Воздух был такой, что пламя беспокойно дергалось и чадило на фитиле коптяшки, готовое вот-вот задохнуться и погаснуть.

У самой лампочки сидел невысокий худой солдат и что-то старательно выстругивал из чурки самодельным и, очевидно, очень острым ножом. К предложению написать о нем в «Правду» он отнесся несколько недоверчиво и рассказывать о себе вежливо отказался.

— Что обо мне писать, — сказал он, с поразительной ловкостью орудуя ножом, под которым дерево подавалось покорно, с мягким хрустом, точно это была не твердая слоистая ель, а тугая репа, только что вырванная с грядки. — Писать обо мне нечего, наше дело кротовое, земляное, бесшумное. Вот вы лучше о нашем снайпере Солодкове напишите, он, говорят, тридцать два фашиста срезал. Можно сказать, в одиночку — целый взвод. Вот это да. Иль о разведчике Бахарева. Тоже силен солдат. О нем вон в нашей дивизионной много интересного сообщают. А я что, я, может, за всю войну и двух обойм не расстрелял. Что ж обо мне писать?

И он оторвался от работы, довольным, прищуренным взглядом мастера посмотрел на чурку, из которой уже начинали вырисовываться контуры продолговатой деревянной ложки.

Так он о себе тогда ничего и не сказал. Зато товарищи его по роте рассказывали о нем охотно и много, и из этих рассказов возник тогда передо мной портрет Николая Харитонова.

Руки его всегда находили себе дело. Сидя у костра, на ко-

тором варилась каша, или слушая, как политбеседник ефрейтор Капустин читал по вечерам вслух газету, Николай Харитонов всегда с чем-нибудь возился. То шинель зашивал редким солдатским стежком, то тихонько точил топор о гладкий, подбренный у дороги голыш, а то просто строгал большим самодельным складным ножом какую-нибудь чурку. И, глядишь, каша еще не поспела, ефрейтор Капустин еще до международного положения не добрался, а у него уж получилась из чурки весьма удобная деревянная ложка, мундштук, трубка, крышка к коптилке или какой-нибудь другой предмет, полезный в окопной жизни.

Много таких предметов, выстроганных старшим сержантом Николаем Харитоновым, гуляло по рукам бойцов в роте саперов, которой командовал тогда, как сейчас помню, капитан Грушин. И слыл сержант среди товарищей мастером на все руки, хладнокровным, расчетливым, отважным и умелым человеком. Ему капитан всегда поручал самые сложные задания, и Харитонов выполнял их сноровисто, аккуратно и всегда очень удачно.

Он был молчалив. Иной день бойцы не слышали от него и десяти слов, но в роте то и дело повторяли: вот Харитонов об этом то-то и то-то говорил, старший сержант наш советовал так-то и так-то сделать. И жизнь у него была прожитая такая же, простая, скромная и хорошая, как и он сам. Сын вятского печника, он с детства вместе с отцом бродил по стране и клал в деревнях немудрые русские печи. Он любил это дело и достиг в нем немалого совершенства. Но когда начали строиться первые индустриальные гиганты, он вернул отцу инструмент, простился с ним и остался на Днепрострое. Своими масштабами Днепрострой захватил его воображение.

Сначала он был тачечником, потом землекопом, потом бетонщиком, а к концу стройки уже бригадиром арматурщиков. Ему, как человеку умелому, искусному, предлагали остаться эксплуатационником на электростанции, но он отказался. Его увлекал самый процесс строительства, и до самой войны он возводил на Днепре большие и малые заводы — отпрыски Днепро строя.

В каменных работах достиг он большого умения и был награжден медалью «За трудовую доблесть».

В первые дни войны Харитонов строил на подступах к Днепру бетонные укрепления. Строитель стал солдатом-сапером. Человек, с увлечением воздвигавший из кирпича и бетона величественные громады на пользу людям, шел в послед-

них рядах отступавших войск, взрывая за ними мосты, водокачки, электростанции, портя и минировав дороги.

Страшную для рабочего человека разрушительную работу сапер Харитонов делал с молчаливым ожесточением. И с каждым новым взорванным сооружением сердце его тяжело, наливаясь ненавистью к тем, кто вынудил его уничтожать изделия ума и рук человеческих, кто заставил строителя, поднявшегося на вершину трудовой славы, стать разрушителем им самим построенного.

Может быть, действительно за всю войну не расстрелял Харитонов и двух обойм, но ущерб, который нанесла врагу неукротимая ненависть этого замкнутого, молчаливого человека, можно было сравнить с работой артиллерийской батареи.

Главным оружием его на войне были смекалка, хитрость и хладнокровное мастерство. Друзья его рассказывали, как в первую зиму войны группу саперов направили во вражеский тыл минировать дорогу, по которой немецкие подкрепления шли и ехали к месту боя. Метельной ночью саперы проползли по руслу ручья, по снегу, несколько километров, таща на лямках лотки с толом. Ожидая прорыва, немцы в шахматном порядке заминировали дорогу, отметив для себя минированные места табличками-вешками.

Саперы подползли к этой дороге. Скованный морозом снег звенел. Он был так гладко, так твердо укатан, что каждая свежая царапина, а не то что вновь заложенная мина, была бы на нем заметна. Как быть? Пока товарищи раздумывали, Николай Харитонов закатал рукава маскировочного халата, мягко ступая в валенках, вышел на дорогу и начал тоже в шахматном, но в обратном порядке переставлять немецкие таблички, тщательно затирая потом старые ямки от колышков.

На рассвете, уже сидя у своих в блиндаже боевого охранения за кружкой горячего чая, так как хмельного и на войне Харитонов в рот не брал, он криво улыбался, слушая отдаленные глухие взрывы, доносившиеся с немецкой стороны. Какой-то вражеский транспорт запутался в собственных ловушках, и машины валились на своих же минах.

В другой раз ночью перед штурмом города Калинина, уже обложенного с трех сторон частями Красной Армии, Харитонов послал резать проволоку стационарных вражеских укреплений. Капитан предупредил, что местность перед проволокой густо заминирована по какому-то новому, еще не разгаданному способу и что несколько саперов из соседнего батальона уже погибло на непонятных ловушках.

Харитонов взял кусачки и пополз по следу одного из подорвавшихся. Он подобрался к проволоке и, прежде чем приступить к работе, долго осматривал место гибели товарища. Пятна черной гари явно обозначались под самой проволокой. Значит, секрет был связан с ней. Харитонов пополз вдоль проволоки и вдруг заметил, что у кольев от проволоки вниз идут не приметные, прозрачные, присыпанные снегом ниточки. Сапер пополз к одной из них, тихонько отгреб кругом нее снег, а потом стал плавить его своим дыханием, не трогая, не колебля ниточки.

Он знал, что эта нитка протянута к смерти. Он почти касался ее губами. Когда в снегу начала оттаивать воронка, он увидел, что на дне ее вырисовывается круглый металлический цилиндр. Хитрость была разгадана. Малейшее колебание проволоки ниточки передавали на чуткий взрыватель, и мина огромной силы, уничтожая неосторожного сапера и одновременно сметая все следы, которые могли бы привести к разгадке секрета, сигнализировала на передовые, что кто-то появился у укреплений.

Поняв, в чем дело, Харитонов сбросил полушубок и, отдавая себе ясный отчет в том, что может взлететь на воздух, стал осторожно действовать.

Капитан Грушин, сидя в передовой траншее, отсчитывал тигучие секунды и нетерпеливо поглядывал в темноту, туда, где исчез солдат. Давно прошел положенный час, а Харитонов не возвращался. Но и взрыва не было слышно. Значит, он жив. И капитан, ежась от холода, продолжал смотреть на часы. Наконец, уже перед рассветом, когда холодная мгла стала рассеиваться и сереть, послышалось тяжелое дыхание и захрустел снег.

Через снежный бруствер в траншею свалился Харитонов, весь испарянный, измученный, криво улыбающийся синим, окоченевшим ртом. Клацая зубами от холода, он доложил, что ходы прорезаны, и достал из кармана металлический цилиндр, похожий на коробку из-под кофе.

— Вот она. Надобно ребятам показать, двадцать восемь таких штукovin с проволоки срезал. Хитрая работа, чуть проволоку кольхнешь — будь здоров. — Он небрежно бросил на снег разряженную, уже безвредную мину. Потом вытянулся и доложил: — Проходы прорезаны и обвешаны сосновыми лапками, товарищ капитан.

Потом, в свободный час, Харитонов долго корпел над принесенной миной. Он изучил ее механику и, разобрав ее на ча-

сти, показал товарищам нехитрый, в конце концов, секрет немецкой новинки. Он научил их отыскивать соединительные нити и показал, как оттянув нити вниз, ослабив их напряжение, чтобы не «беспокоить мину», можно безопасно разряжать «секретки» простым ножом.

Особенногодились способности Харитоновав дни весеннего наступления по талым дорогам и хлябям Калининщины. Отходя и все время стараясь вывести свои войска из-под удара авангардов наступающей Красной Армии, немцы двинули в дело всю свою весьма обширную технику минирования. Они усеивали «сюрпризами» дороги, тропинки, пороги изб, двери блиндажей, брошенные машины, орудия, продукты на оставленных складах, даже могильные кресты, даже трупы своих солдат.

Харитонов во главе саперов-разведчиков шел впереди одного из наступавших батальонов, обшаривая дороги миноискателями, зондируя их щупами и кошками, зорким глазом осматривая каждый предмет, лежавший на пути.

Молчаливый, сосредоточенный, он, не говоря ни слова, показывал товарищам на ящик с банками консервированного молока, перевязанными безобидной на вид бечевкой, протянутой, как он сказал, «прямо к смерти», на лежащие у порога блиндажа новые солдатские сапоги, в одном из которых таилась мина с чутким взрывателем.

Раз даже показал в отбитом городе на валявшийся в грязи полураскрытый томик пушкинских стихов, корешок которого был хитро присоединен к зарытому в землю фугасу.

— Ишь, что подкинули, подлецы: знают, что книгу любим. Да врешь, нас не перехитришь, ученые,— сказал он. На глазах у шарахнувшихся по сторонам товарищей он лезвием безопасной бритвы перерезал нитку, соединяющую книжку со взрывателем, потом бережно отер рукавом грязь, приставшую к страницам, положил книжку в сумку противогаза и принялся не торопясь извлекать зарытую мину.

Уже под самым Ржевом совершил Николай Харитонов подвиг, утвердивший за ним славу не только в полку, но и в дивизии.

Тяжелый танк, ища брод через ручей, набрел гусеницей на заложенную в снег мощную противотанковую мину-тарелку. Он был остановлен регулировщиками, но поздно. Однако, по счастливой случайности, мина попала между шпор траков. Ее зажало недостаточно сильно, и она не взорвалась. Каждое новое движение танка, малейшее шевеление корпуса самой мины

угрожало катастрофой. Вынуть же из-под гусениц мину, вмерзшую в слежавшийся весенний снег и землю, казалось невозможным.

Вот это-то дело и вызвался добровольно совершить Николай Харитонов. Он потребовал, чтобы все отошли подальше от танка, и начал действовать. Лег на землю, сбросил рукавицы и ногтями очень осторожно стал потихоньку выгребать из-под гусеницы крепкий снег. Пальцы его, чуткие и осторожные, как кошачья лапа, гибко скользили вокруг мины. Ощущая кожей холод металла, он не касался мины. Когда смерзшийся снег не поддавался, сапер наклонялся к самой мине и теплым дыханием размягчал его. Снег становился крупитчатым. Тогда Харитонов тихонько выскребывал щепотку, другую, третью и снова продолжал дышать. За час ему удавалось выбросить таким образом всего несколько оттаянных дыханием горстей снега и земли.

Был один из тех весенних остро морозных дней, какие вдруг выдаются в марте в лесистой части Калининской области. Дул крепкий сиверко. Шурша в вершинах сосен, он нес по полуобнаженным, пятнисто черневшим полям резкую крупку, набегающим валком сбрасывал ее под берег ручья, где Харитонов возился у танка.

Танковый экипаж, саперы и их командир, сидевшие поодаль у костра, измучились, ежесекундно ожидая рокового взрыва. Они промерзли до костей. Им было страшно даже думать, каково-то их товарищу лежать под метелью на ветру, щека в щеку со смертью.

— Харитонов, эй, командир приказывает погреться! Давай иди к костру! — кричали ему.

— Не могу, некогда! — неслоь с ручья.

Харитонов действительно не чувствовал холода. Он сбросил и подложил под себя шинель, скинул ремень гимнастерки. И все же ему было жарко, он обливался потом. Промокшая гимнастерка сверху заиндевела, льнула к телу. Сердце билось, как будто он поднимал невероятную тяжесть, дыхание перехватывало, перед глазамиплыли круги.

А он всего-навсего лежал ничком на земле и тихонько скреб ногтями. Пальцы сапера окостенели, их мучительно ломило. Когда руки совсем теряли чувствительность, он отогревал их под мышками, засовывал под рубаху, а потом опять окапывал снег у мины, кропотливо и упрямо. Так проработал он до сумерек. К ночи стало морознее, темное небо густо вызвездило, копать стало труднее,

Его товарищи не вытерпели. Нарушив уговор, они пришли к нему с котелком горячих щей, с флягой спирта, с куском заботливо отогретого на костре, пропахшего дымом хлеба.

Но он есть не стал. Он не мог есть. Кусок не пошел в горло. Все его силы, все его внимание были сосредоточены на этом проклятом красном блине, теперь уже почти подкопанном, лежавшем на каких-то столбиках мерзлой земли. Он не чувствовал ни голода, ни холода, ни усталости. Он глотнул только спирту, не почувствовав даже его вкуса, закусил хлебом и сейчас же сердито отогнал всех от танка.

Дождавшись, пока товарищи отошли, он снова лег на шинель и приник к мине.

Он проработал так четырнадцать часов. Уже стихла метель, облака затянули небо, пропали звезды, и лес зашумел протяжно, добродушно, по-весеннему тревожно и звонко, когда у костра увидели, что из-под горы медленно, шатаясь из стороны в сторону, поднимается человек в наброшенной на плечи шинели.

Харитонов нес за ручку разряженную мину-тарелку, бросил ее у костра, хрипло сказал танкистам:

— Заводи, можно.

И тут же упал без чувств на руки товарищей...

Много интересных историй рассказывали о нем саперы, сидя вокруг коптишки в подвале одного из домов «подполковника», под Ржевом. Сам же он во время этих рассказов сосредоточенно строгал, весь поглощенный работой, и, когда ложка была готова, обтер ее осколком стекла, пополировал о полу шинели, полюбовался и протянул мне:

— Возьмите на память. Пригодится... Все, что они тут рассказали, было, случалось. Всякий на свой манер воюет. Только чего об этом писать... Мне и самому-то надоело все взрывать, да разрушать, да уничтожать. По хорошей работе душа тоскует, руки чешутся. Верите ли, каждую ночь во сне то стену какую кладу, то бетон в формы заливаю, то арматуру вяжу. Поскорее бы уже весь фашизм рвануть к чертям да за настоящее дело ввязаться...

...И вот он стоит в этом просторном зале, полном солнечного света и тонкого пения работающих турбин, взволнованный, озабоченный, напряженный. Он прислушивается к ровному гудению новой машины, как мать к первому крику ребенка, и в его серых глазах, растроганно глядящих из-под русых



кустистых бровей, большое, настоящее человеческое счастье.

В мгновение, когда запела последняя из трех вновь поставленных турбин на возрожденной из пепла станции, этот человек брал реванш за четыре года тягостной разрушительной работы, за тяжелые часы, что он пролежал рядом с мкиной у танка, за взрывы прекрасных жилых домов, именовавшихся на фронтовом жаргоне «шпалами полковника».

А сколько еще впереди работы для пытливого, неугомонного ума, для жилистых, умелых, не знающих усталости рук, так стосковавшихся по настоящему делу!

*1943—1947 гг.*

## МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

---

**Р**азъезжая после войны по освобожденной Европе, не раз видел я на просторах столичных площадей, на красивых холмах городских пригородов могилы-памятники неизвестным солдатам. Неугасимые светильники днем и ночью не гасли над ними. Чинные садовники в франтоватых униформах подстригали возле пышные газоны. Няни в накрахмаленных чепцах пасли рядом надушенных, разряженных, завитых младенцев. Декоративное великолепие этих шикарных могил невольно вызывало мысль о том, что, наворное, очень неуютно ложится в них бедному солдату, неизвестная мать которого, лишившись кормильца, вероятно, умерла в нищете, а жена если и выжила, то, может быть, пошла невесть по какому пути, чтобы прокормить его осиротевших детей...

Нет, не эти лицемерно великолепные саркофаги, украшающие столицы капиталистических государств, вспоминаются мне сейчас. Не о них будет речь. Я расскажу вам, товарищи, о могиле неизвестного солдата, которую видел летом 1944 года на выезде из старинного украинского городка Славуты, под старым развесистым кленом, растущим на холме над развилкой дорог. Не искусством ваятеля или мастерством зодчего, не тяжелым великолепием мрамора, гранита и бронзы привлекал людей этот невысокий земляной холмик, любовно обложенный зеленым дерном. Возвышался над ним тогда всего только приземистый обелиск. На обелиске этом не очень искусной стамеской сельского столяра была вырезана несколько необычная

надпись: «Погребен здесь неизвестный героический красноармеец Миша. Погиб за родину, за товарищей в проклятом Гросслазарете. Мир доблестному праху твоему».

Мы посетили эту могилу, когда славутские окраины еще курились среди пожухшей от жары зелени фруктовых садов, когда в колючих проволочных коридорах, ограждавших территорию Гросслазарета, еще валялись, оскалив морды, огромные псы, пристреленные нашими солдатами, а армейские санитарные автофуры вывозили из бараков этого страшного заведения живые скелеты тех, кого Красная Армия в последнюю минуту спасла от смерти. Память о «неизвестном героическом красноармейце Мише» была совсем еще свежа, и солдаты наступавших частей, останавливавшихся на ночлег в окрестных селах и хуторах, слышали от дидов, дядьков и жинок рассказы о необыкновенном подвиге, еще не успевшие тогда приобрести характера легенды.

С рассветом воинские части продолжали двигаться по дорогам на юг и на юго-запад. Поравнявшись с могилой под кленом, пехотинцы торопливо сдергивали пилотки и шлемы, ездовые придерживали коней, шоферы тормозили машины. Случалось, что какой-нибудь солдат выбегал из пыльной усталой колонны, торопливо клал на холмик букетик мелких полевых маков или васильков, сорванных у дороги. К клену был приложен и венок, сплетенный, наверное, девушками-санинструкторами из цветов, сделанных из компрессной бумаги и окрашенных с помощью акрихина и стрептоцида.

Эти незатейливые дары — знак солдатского уважения — сверху донизу покрывали тогда холмик, висели над ним на сучках клена, простиравшего пышный зеленый шатер, пронзенный солнечными зайчиками.

То, что я расскажу вам сейчас о «неизвестном героическом красноармейце Мише», я сам узнал от жителей и жительниц окрестных сел. Но, прежде чем перейти к рассказу, следует разъяснить, что представлял собой так называемый Гросслазарет в Славуте. Это было, пожалуй, одно из самых мрачных порождений человеконенавистнической фантазии нацизма, своеобразная гигантская морилка для раненых и увечных военнопленных, устроенная под сенью флага с красным крестом. Раненых военнопленных привозили сюда чуть ли не со всего днепровского фронта. Изверги во врачебных халатах заражали их различными болезнями, испытывали на них действие ядов и отравляющих веществ, а тех немногих, кому удавалось выжить, расстреливали на краю гигантских могил, заглаговре-

менно вырытых в песке, километрах в пяти от этого страшного заведения.

Никто из рассказывавших мне эту историю точно не знал, кем был неизвестный красноармеец, гордо отказавшийся назвать госпитальному начальству свою фамилию, звание и часть. Одни называли его разведчиком, переправившимся через Днепр для изучения сооружений немецкого «восточного вала», другие уверяли, что он был заброшен на самолете в тыл для установления связи с местными партизанскими отрядами, третьи говорили, что это был советский диверсант, действовавший на железной дороге Ровно — Львов. Но все сходились на том, что говорил он по-русски с каким-то не то грузинским, не то армянским акцентом.

Уже в изоляторе, в этом пустом каземате из железобетона, куда в этот день навезли столько людей, что им нельзя было ни лечь, ни даже присесть, этот раненый человек стал подбивать товарищей на побег. Первые часы карантина он был в забытьи.

Чтобы его не смяли битком набившие изолятор люди, товарищи уложили его на подоконник. Он начал действовать сразу же, как пришел в себя.

Сначала его никто не хотел слушать. И в самом деле казалось, что только сумасшедший может мечтать о побеге, когда у него на обеих ногах гноящиеся раны, кое-как перевязанные грязными обрывками нательной рубахи. Но к утру, когда в покачивающейся толпе, битком набившей бетонный каземат, несколько раненых умерло и мертвецы, не имея возможности упасть, зажатые со всех сторон, продолжали стоя покачиваться вместе с живыми, многие стали склоняться к тому, что, может, и прав неизвестный боец, сидящий на окне, — что действительно лучше умереть, сражаясь с конвоирами и охраной, чем гибнуть в унижительных муках в этой морилке.

А тот, кого называли Мишей, маленький, черноволосый, с лицом, заросшим до бровей курчавой щетиной цвета воронова крыла, лихорадочно поблескивая карими миндалевидными глазами, сидел в проеме окна и, не боясь шпионов, которых обычно фашисты подсовывали в каждую партию пленных, бросал в толпу колючие, злые слова.

— Вот эти померли — их счастье, — показывал он на мертвецов, покачивавшихся вместе с толпой. — Вас тоже убьют, только перед этим намучают вдосталь, поэкспериментируют над вами, как над кроликами или морскими свинками.

— Тебя, что ли, помилуют?

— Да чего он за душу тянет! Эй, кто там поближе, заткни ему глотку, чтоб не каркал.

— «Каркал!» Он правду говорит! Что ж, и ждать, как телкам на бойне, пока тебе очередь придет под нож идти?

— Верно, землячки, лучше от пули помирать, чем, вон как эти, в собственной вони задохнуться. Может, повезет, и еще какого-нибудь фашиста-подлеца на тот свет захватим.

— Что же, с кулаками на автоматы лезть? Так?

— А хоть и с кулаками... Да лучше пять раз подряд помереть, чем позволить, чтоб на тебе, советской земли человеке, фашист свои яды пробовал! — кричал с окна Миша.

— Правильно говоришь... Дело...

Толпа гудела, постепенно наливаясь тяжелой яростью.

Возможно, администрация Гроссалазарета через осведомителей узнала, что новая партия раненых принесла с собой бациллу бунта. Возможно, донесли ей и о солдате, который говорил с акцентом и отказался назвать фамилию. А может быть и так, что Миша и другие раненые были отобраны из вновь прибывшей партии как слишком хилые и не годившиеся для изуверских экспериментов; только на следующий день эксперты, принимавшие новых, отделили его и с ним еще двадцать одного пленного, имевших ранения рук или ног. Их не повели даже в барак, их снова заперли в изоляторе. И Миша понял, что сегодня их умертвят. Поняли это и остальные. Тяжкое молчание наступило в бетонной коробке, пропахшей карболкой, аммиаком, нечистотами. Кто, сидя на полу, замер, прислонившись к стене, кто дремал, прикорнув в углу, бормоча и вскрикивая во сне, а Миша в зарешеченное окно наблюдал, как острые солнечные блики посверкивали в кадке воды, стоявшей у входа в изолятор, как торопливо, на разных скоростях, плыли по голубому летнему небу пушистые, позолоченные по краям облака.

— Эх, ребята, хоть бы разик еще полежать на песочке у реки, где-нибудь в тихой заводи погреться, — неожиданно сказал он.

— Належимся в песочке, только уж насчет солнышка — извини. Солнышка нам больше не видать, — ответил раненый солдат с круглой, коротко остриженной и точно позолоченной рыжим волосом головой, со значком отличника-артиллериста на изорванной, окровавленной гимнастерке.

— Да, отвоёвались! Без нас Берлин брать придется, — прогудел хмурый босой пехотинец и, яростно скрипнув зубами, точно выдохнул с хрипом: — Что гад-фашист делает! Узнать бы об этом ребятам в нашем полку!..

Этот мрачный сутулый парень сидел в углу и с самого рас-света, как только первые лучи просунулись сквозь решетки квадратных окон, с упорством манияка скреб гвоздем жесткую известку стены. До того, как поведут на смерть, он хотел рас-сказать на стене тем советским солдатам, что возьмут когда-нибудь Гросслазарет, о том, что творили фашисты с ранеными, попавшими в плен. Он скреб и скреб стену, скреб неутомимо, врезая в штукатурку букву за буквой. Скрежет его гвоздя не давал никому покоя.

— Что ж, мы и будем так вот смерти ждать? — вскрикнул вдруг Миша, с трудом отрывая взгляд от перламутровых красок летнего неба. — А это они, гады, видели? — И он ткнул кукиш туда, откуда слышались шаги часового, неторопливые и рит-мичные, как стук маятника старых часов.

Он выкрикнул это с таким бешенством, что все, кто оставал-ся в изоляторе, оглянулись, отрываясь от мрачных дум. Даже спящие проснулись, даже неутомимый пехотинец перестал скрести гвоздем.

— Мы еще повоюем, черт их всех возьми!

— Без рук да без ног? — грустно усмехнулся артиллерист. Действительно, у оставшихся в изоляторе или руки висели на перевязи, или на ногах виднелись култышки в грязном тряпье.

— А зубы, зубы на что? — крикнул Миша, упираясь рука-ми в оконные проемы и усаживаясь на подоконнике. Два ряда крепких крупных белых зубов страшно сверкнули в курча-вых зарослях усов и бороды. — Зубами фашисту горло пере-грызу!

— Зубами не зубами, а если, скажем, костыльком фрица по черепу благословить, пожалуй, не выдержит череп, — как-то сразу оживился пехотинец, тот самый, что с утра гвоздем выводил на стене солдатское завещание.

— А то под ноги броситься, повалить да и придушить.

— Или камнем каким ни попало на прощанье кокнуть, а то сапогом садануть под душу. Верный амбец с такого удара. Я, братцы, еще в бою под Москвой в штыковой атаке одного так-то к чертям откомандировал. Он за винтовку мою схватил-ся, а я его сапогом под душу.

Точно свежий ветер вошел Миша в затхлые стены бетон-ной коробки. Тут, за коридорами из колючей проволоки, по ко-торым день и ночь бегали свирепые псы, за второй изгородью из проводов, наэлектризованных током высокого напряжения, в бетонной камерке, возле которой часовой с автоматом не-

умолчно отмеривал шаг, безоружные, раненые, отощавшие люди мечтали о том, как дадут они врагу бой.

— ...Эх, товарищи, читал я где-то, а может, и не читал, так в голову пришло: солдат не побежден, пока он сам себя побежденным не признает, — сверкая белками глаз, говорил Миша. Он сидел в проеме окна спиной к свету. Розоватое закатное солнце освещало его сзади, и казалось, что весь он лучится тревожным светом. — Только не дрейфить, хвост не поджимать, мы им, сволочам, покажем их фашистскую маму.

— Видать, расстреливать будут. Темноты ждут. Уж это их такая поганая манера — в темноте расстреливать. Днем ни о чем, только ночью, — заметил бывающий артиллерист.

— Это бы здорово. Расстреливать — это из лагеря куда-нибудь везти. Они для таких дел места поглуше ищут, подальше от жилья. А ежели так, мы не только кое-кого из них с довольствия спишем, а может, кому и уйти удастся. А? — спросил вдруг пехотинец.

Он уже забыл о своем завещании. Он весь был захвачен мечтой о решающей схватке и, должно быть, ни о чем уже другом думать не мог.

— А верно, ребята, может, бежим? Ну, сколько их, конвойных, будет? Ну два, ну три, ну от силы пять. У них с солдатней не густо.

— Да еще ночку бы нам потемней... Глянь, Миша, какой там закат, дождя не обещает?

И хотя солнце село на чистом горизонте и в еще не потемневшем небе уже засветились первые колющие звезды, надежда, зажженная Мишей, не исчезла. Когда, уже затемно, у изолятора зарокотал, зафыркал мотор тяжелого грузовика, послышался топот, говор и заскрежетал ключ в замке — узники затаились.

Палачи, привыкшие к выкрикам ужаса, истерическим воплям, ругательствам и мольбам, отпрянув, застыли в дверях, испуганные настороженной тишиной. Должно быть, необыкновенное молчание изолятора испугало и командира конвоя, высокого коренастого ефрейтора в черной форме войск СС, ведавшего в Гроссалазаре массовыми расстрелами. Он выругался себе под нос и, засветив фонарь, проткнул сумрак камеры ярким острым лучом.

Нет, опасности не видно. Обреченные на уничтожение раненые смирно сидели на полу. Самоуверенный палач, для которого расстрелы стали обычным делом, не разглядел какого-то особого, отнюдь не обреченного, а скорее нетерпеливо возбуж-

денного мерцания глаз. Он застегнул жесткую кобуру пистолета и скомандовал погрузку. Переводчик передал приказ выходить и занимать места в кузове грузовика. Кто медлил, кому слабость или увечье мешали идти, конвоиры хватали за руки и ноги и, раскачав, как бревно, бросали их в машину. Миша на руках пружинисто спустился с подоконника и, не показав врагам боли, заковылял на костылях. Он не проронил ни звука, когда его ударили ногой. В эту минуту он подсчитывал силы врага. Палачей было семеро — четверо солдат, вооруженных автоматами, их командир — ефрейтор, у которого на поясе висел пистолет, и шофер с переводчиком, по-видимому безоружные.

Когда раненые были в кузове, ефрейтор и переводчик забрались в кабину, а солдаты, поднявшись в кузов, уселись по углам, даже не сняв оружия с плеч. В последнюю минуту кто-то снизу кинул в машину несколько заступов. Они, сверкнув при луне полированными лезвиями, с грохотом упали под ноги раненым.

Палачи, должно быть, не допускали даже мысли о возможности сопротивления. Машина тронулась и, осторожно миновав проезд меж бараками, выбралась на главную лагерную магистраль. В воротах ее остановили. Пожилой длинноносый часовой пересчитал пассажиров. Он сделал это неторопливо, тщательно, точно усталый за день приемщик, отправляющий на убой последнюю партию скота. Машина тронулась. Солдаты, покачиваясь на скамьях, позевывали и дремали. Они явно думали только о том, как бы поскорее управиться с этой последней работенкой и, вернувшись в казарму, завалиться на нары.

За воротами машина взревела мощным дизелем и, набрав скорость, понеслась по накатанной проселочной дороге к лесу, зубцы которого неясно чернели на горизонте за полями, точно осыпанные сверкающей лунной пылью.

Миша сидел на полу кузова, упираясь спиной в кабину машины. Он решил: пусть увезут как можно дальше. Он хотел атаковать палачей в минуту суматохи, которая неизбежно возникнет, когда остановится машина. Он мечтал захватить хотя бы один автомат. О, тогда он покажет им, этим палачам, обнаглевшим на легких убийствах, что значит хотя бы и раненый, хотя бы и голодный, изнуренный советский солдат!

Желание захватить автомат поглощало его настолько, что он даже как-то забыл, что идет, может быть, последний час его жизни. Только бы кто-нибудь из товарищей не нарушил угово-

ра и не бросился бы на врага раньше времени, не спутал бы план. И Миша свирепым взглядом останавливал тех, чьи взгляды нетерпеливо, слишком уж явно тянулись к заступам, призывно звеневшим и бренчавшим на каждом ухабе.

Но вот пахнуло хвоей, ветки деревьев гулко забарабанили по брезенту. Машину несколько раз тряхнуло, мотор сбавил газ. Остановились. Конвойные, нагибаясь, чтобы не упереться головой в брезент, разминаясь, поднимались с мест. Вот тут-то Миша и крикнул: «Бей гадов!..» Цепко схватив за ноги ближайшего к нему немца, он с силой дернул его на себя и, когда тот, оторопев от неожиданности, стал падать, обеими руками вцепился в его автомат. Что делали в эту минуту другие его товарищи, он уже не видел. Ощувив в руках холод полированного металла, он с силой, на какую только был способен, повернул автомат и, когда пальцы немца оторвались от оружия, крепко хватил его по черепу тяжелым рубчатым прикладом. Второй солдат с рассеченным до бровей черепом умирал рядом. Рыжий артиллерист, действуя одной рукой, отбросил заступ, овладел вторым автоматом и, ловко, как кошка, выпрыгнув из машины, исчез в ночи. Один за другим, помогая друг другу, выбирались из кузова раненые. Из темноты уже доносились звуки борьбы — хрипение, крики, брань, глухие удары, длинная дробь автоматной очереди. Раз, другой хлопнули короткие пистолетные выстрелы.

Миша, знавший немецкое оружие, прямо сквозь брезент фургона послал продольную очередь на звук этих пистолетных хлопков, и вторую, тоже длинную, но сосредоточенную, — на звук автомата. Потом он пополз к краю кузова, перевалил через борт, тяжело свесился на руках и рухнул на землю. На миг от жгучей боли все вокруг качнулось и стало расплываться. Поняв, что теряет сознание, Миша крепко закусил губу и этим отогнал обморок. Туман в глазах рассеялся.

Теперь можно было действовать. Ползком, как ящерица, Миша добрался до колеса грузовика, глубоко втиснувшегося в слабый песчаный грунт. Окинув освещенную луной полянку, он сразу оценил обстановку. Возле машины, смятый и неподвижный, лежал третий конвойный и двое раненых, должно быть приконченные им. Остальные раненые, выбравшись из машины, по одному, по два, по три уже тянулись к лесу. Двое — те, что ранены были в руки, — тащили третьего. Обнимая их шею, он прыгал на здоровой ноге. Совсем ослабевших уносили на закорках. И по ним, откуда-то из зияющих ям, из заранее заготовленной могилы, как догадался Миша, били из



автомата. В этой могиле, должно быть, и прятались уцелевшие палачи. По ним на свет злого дрожащего огонька бил из-за массивного соснового пня пехотинец, тот, что с утра писал на стене свой последний наказ советским воинам.

Миша переполз к противоположному колесу. Заросшая сухим вереском поляна, на которой поднимались аккуратно выложенные продолговатые холмы, простиралась перед ним. Тут уже никого не было.

— Эй, пехота, сколько их там в могиле? — спросил Миша.

— Ты жив?.. — откликнулся пехотинец. — Вроде трое.

Над могилой затрепетал огонек. Точно стоя синичек, цвинули над Мишиной головой пули. Переждав копец очереди, продолжали разговор:

— А четвертый?

— Четвертый, сука, вроде ушел.

Еще пятеро раненых, должно быть переживавших стрельбу, выбрались из кузова.

— Расползайся в разные стороны, расходишь кто куда может, хоронись лучше! — скомандовал им Миша, стараясь из-за своего колеса уловить момент, когда немец высунется из могилы, чтобы дать очередь.

Но немец стрелял искусно, ловко. Уже давно пробил он шину где-то над Мишиной головой. Зашипел воздух. Машина накренилась.

Пули нет-нет да и клевали стальной обод и со стоном рикошетировали от него.

— Разбредайтесь, черти! — напутствовал пехотинец из-за своего пня.

— На деревья не лазить, с собаками будут искать! — кричал им вслед Миша.

Черные тени пересекли луг. И вдруг где-то рядом послышалось тяжелое дыхание.

— Не стреляй, свой, — раздался голос артиллериста. Он подполз к Мише, виновато улыбаясь. — Я было тиканул в лес с автоматом, потом слышу — вы бой ведете; вернулся.

Три автомата на автомат и пистолет! Теперь воевать можно было.

Миша, присев под защитой колеса, пронзительным свистом сквозь зубы, этим универсальным сигналом, понятным каждому, кто воевал в рядах Красной Армии, вызвал к машине пехотинца из-за его корневища.

Немцы не стреляли. Они, наверное, сэкономили патроны на

случай атаки. Но сколько могло быть у автоматчика запасных обойм?

— Надо уходить, пока шофер не привел подмогу,— сказал артиллерист.

— С этим покончим и уйдем.

— Это не просто «покончим»,— возразил Миша.— Они в земле, выковырни их оттуда. И оставить нельзя. На след наведут. Эй, слушай, имсю идею!

И, весь загораясь новой мыслью, как умеют загораться деятельные, живые люди, он шепотом сообщил товарищам план. Они с пехотинцем будут огнем сковывать внимание немцев.

Артиллерист, который был, так сказать, целее их и мог легче передвигаться, тихо подползет к могиле с тыла...

...Минут через десять короткая очередь раздалась за земляным горбом,— очередь, после которой в лесу воцарилась такая тишина, что слышны стали все еще доносившиеся издали соловьиные трели. От машины видно было, как артиллерист соскользнул в могилу, как через минуту выбросил из нее один за другим два автомата, вылез сам и, не сгибаясь, в рост пошел к товарищам.

— Там внизу и наши лежат. Много. Теплые еще.

— Пошли, пошли,— заторопил пехотинец.— Садись, атаман.

Он посадил Мишу на закорки, и они скрылись в лесу, в котором исчезли уже их товарищи.

Мишу несли по очереди. Двигались быстро, как только хватало сил. И все же далеко уйти им не удалось. Вдали послышался рокот моторов, потом голоса и возбужденный собачий лай.

— Товарищи, оставьте меня, я вас прикрою,— попросил Миша.

Друзья ничего не ответили и продолжали его нести. Шли почти бегом. Все глубже и глубже забирали в чащу.

— Оставьте меня! — требовал Миша.

— Молчи, что ты мелешь,— шептал артиллерист.

— Вместе уйдем или вместе погибнем,— хрипел пехотинец, крепко сжимая железными пальцами здоровой руки руку Миши, сидевшего у него на закорках.

Но голоса уже приближались настолько, что можно было различить отдельные слова.

Когда проходили мимо большого выворотня, Миша рванулся из рук своего носильщика.

— Стой!

И столько было в этом коротком слове командирской власти, что пехотинец невольно остановился.

— Я приказываю оставить меня здесь,— сказал тот, кого звали Мишей.

Соскочив с плеч товарища, он распластался на земле, устроился за торчащими корнями, дал длинную очередь по чужим голосам и собачьему лаю.

— Оставить еще... один автомат! Бежать в разные стороны! — приказал он.

Пехотинец и артиллерист подчинились команде. И долго еще, пробираясь сквозь заросли молодого дубняка, слышали они за спиной звуки боя, автоматные очереди, винтовочный треск, взрывы гранат, чьи-то крики. Белесая ракета, гася луну, вонзилась в небо. Гулко звенело эхо выстрелов, и спугнутые птицы, свистя крыльями, ошалело носились, натываясь на вершины берез...

А на следующий день в пригородном сельце, что южнее Славуты, на площади перед зданием колхозного правления, где тогда помещался немецкий комендант, висел на суку старого бука молодой человек в форме советского солдата с култышками ног в грязных бинтах. Гимнастерка и шаровары повешенного сплошь коробились от запекшейся крови.

По округе уже ползли слухи о побеге раненых, об их необыкновенном бое с фашистскими конвоирами и о том, что только одного из бежавших после долгих поисков удалось настичь. Поняли люди, что этот единственный и был тот заросший черным волосом человек, что висел на суку бука перед зданием комендатуры.

Подходили, молча рассматривали тело и убеждались, что не от петли, а от многих и многих ран умер этот неведомый человек, поняли, что уже мертвым он был повешен мстительными палачами...

Ночью совершилось чудо. Под самым носом у часового, охранявшего комендатуру, повешенный исчез. Исчез бесследно, точно растаял в теплом весеннем тумане. Только конец обрезанной веревки осветило поднимавшееся солнце. А на следующую ночь на развилине дорог, ведущих из Славуты на юг и на юго-запад, под старым кленом появился свежий могильный холмик.

Крестьяне окрестных селений спрятали и выходили беглецов. От них узнали они то, что случилось в Гроссслазаре.

Говор о подвиге неизвестного человека, покоившегося под кленом, пошел по хуторам и лесам...

Вот и все, что удалось мне узнать от окрестных селян в те дни, когда мимо клена и безыменной могилы на юг и на юго-запад шли наступающие советские войска. И мне хотелось, чтобы рассказ этот, в котором я ничего не умолчал и не прикрасил, лег тогда рядом с наивными солдатскими букетами и венками на могилу неизвестного советского солдата.

*1944—1949 гг.*

---

Советские танкисты, завершая стремительный марш-маневр на окружение Верхней Силезии, прорвались к Одеру. Грузно раскачиваясь и урча, окутываясь на поворотах облаками сизого дыма, тяжелые и быстрые машины на полном газу бесконечным лязгающим потоком неслись по автостраде. Мотопехотинцы в полушубках, жестко выдубленных каленым морозцем, сидели на броне, отгораживаясь рукавицами от острого ветра, упираясь промасленными валенками в прикрученные к броне бревна и ваги. Руки их прочно лежали на прикладах автоматов, и слезящиеся от холода глаза настороженно и зорко осматривали окрестности.

Но холмистый ландшафт, разрубленный надвое асфальтовой автострадой, был совершенно безлюден и как-то зловеще пуст. Уныло плыли серые, полосатые, уже оттаявшие, но снова схваченные морозом поля. Голые лиственные лески то там, то тут приближались к автостраде, чтобы сейчас же отбежать от нее к горизонту. А вдаль то справа, то слева все время маячили деревни с однообразными каменными островерхими домами, с серыми тычками кирпич, такие похожие друг на друга, что было скучно на них глядеть, и начинало казаться, будто кто-то переносит один и тот же макет, переставляя его с места на место.

Лязгая и гремя гусеницами, рыча моторами на подъемах, сплошной стальной поток быстро двигался на запад. Шли танки, покрытые еще не отмытой зимней маскировочной краской, утюгообразные броневики, окрашенные в пестрый цвет щучьей

чешуи, тяжелые бронетранспортеры с пехотой и скорострельными зенитными пушками, большие пузатые бензовозы, тяжело раскачивавшиеся и приседавшие на ходу, крытые автофургоны с пехотой и боеприпасами.

Когда наш вездеход, шедший где-то в середине этого потока, въезжал на гребень холма, сверху казалось, что по дороге ползет, поблескивая серой чешуей, бесконечная стальная змея, уходившая головой и хвостом за линию горизонта.

В этот день на заре, недалеко от старой польской границы, был прорван немецкий фронт, и бронетанковые части устремились в брешь, завертывая фланги прорыва и оставляя отступающих где-то у себя за спиной. Морозная стынь, сковывавшая поля, не давала оглядываться по сторонам. Встречный ветер горстями бросал в лицо острую снежную крупку, заставляя глубже вжиматься в сиденье, наклоняться под защиту стекла.

Вдруг шофер, уставший от бесконечного следования в танковой колонне по широкой и гладкой дороге и все время напевавший, чтобы не задремать за рулем, привскочил с места и стал рукавицей протирать ветровое стекло.

— Ой, что это? Откуда они?

В этом месте дорога полого всползала на холм. На самом его гребне была видна толпа женщин. Размахивая руками, они что-то кричали танкистам. Но машины шли и шли мимо них.

— А ведь наши! Ей-богу, наши! — воскликнул шофер. — Должно, в машину просятся. Чудачки! Кто же их возьмет? Ой, глядите, босиком! Нет, правда босиком!

Теперь можно было рассмотреть, что женщины не просто приветствовали наши танки. Они что-то кричали танкистам, о чем-то просили их, прижимая к груди руки и размахивая платками. Но автоматчики, сидевшие на броне, только разводили руками и показывали на дорогу: дескать, ничего не попишешь, недосуг, наступать надо. И толпа женщин с надеждой бросалась к следующей машине.

Все они были в одинаковых комбинезонах из мешковины, а головы прикрывало какое-то тряпье. Как показалось нам издали, это были истощенные, пожилые женщины. Некоторые из них были босы, у иных ноги были обмотаны тряпьем. Лишь немногие имели ботинки. А асфальт был жгуч от мороза. По земле с шелестом тянулась поземка.

Когда наша машина, взобравшись на гребень, приблизилась к ним, несколько женщин вырвались из толпы и, схватившись за руки, загородили дорогу. На лицах их, кирпично-розовых, залубневших от ветра, была видна отчаянная решимость.

— Остановитесь! Хоть вы остановитесь! Не пустим! — украински певуче закричала одна из них, сверкая из-под платка огромными черными глазами.

— Мы же свои, свои! — неслоь из толпы.

А другая — высокая, простоволосая, с огненными, развевающимися по ветру волосами — требовательно твердила одно только слово:

— Товарищи, товарищи... товарищи же!..

Шофер вывел машину из колонны, остановил ее на обочине, и танки с иззябшей и веселой мотопехотой, мотавшейся на броне, потекли мимо нас.

Женщины окружили наш вездеходик. Их исхудалые, заострившиеся лица с резко выступавшими углами скул, с глазами, красными от слез и ветра, горели неистовым, исступленным счастьем. Некоторые плакали. Все были так взволнованы, что трудно было у них добиться, кто они, почему они здесь, что им надо.

Предосторожности ради сопровождавший нас пожилой боец-автоматчик соскочил с заднего сиденья и стал возле машины, разминая затекшие ноги. Женщины сейчас же бросились к нему и принялись гладить руками заскорузлый его полушубок, старенькую ушанку, прожженную и порыжевшую от дыма костров, его автомат с затвором, заботливо обернутым тряпицей, точно все еще старались убедиться, что это не сон, что действительно настоящий красноармеец, в полушубке, в валенках, стоит тут, на немецкой автостраде, над чужой рекой Одер. И вдруг та маленькая брюнетка с огромными черными глазами, что так решительно первой преградила дорогу нашей машине, схватила большую жилистую руку автоматчика с прокуренными пальцами и прижала ее к губам:

— Родной, милый... Родной ты наш!.. Уж мы вас ждали, ой, ждали!

Автоматчик застеснялся, нахмурился, краска выступила у него на небритых щеках. Он резко отдернул руку.

— Это что ж за модель — руки целовать!.. Что я — поп, что ли? Научили вас тут...

Эти слова точно преобразили женщину. Иззябшая, жалкая в безобразном комбинезоне, она вдруг выпрямилась, скинула голову и, гневно сверкнув черными глазами, ответила:

— Тю!.. Ты что подумал-то? Разве я тебе? Я Красной Армии руку целую за то, что нас освободила, за то, что сюда пришла!

И, повертываясь к нам, она деловито, с легким украинским акцентом, отрекомендовалась:

— Катерина Кукленко... Секретарь тайного комитета насильно мобилизованных советских граждан поместья «Зофиенбург»... Кому тут сдать склады с зерном, холодильник с мясом и военнопленных, сидящих под стражей?

Еще утром этот край был глубоким немецким тылом. Борьба шла в сорока километрах восточнее. И вдруг это деловитое заявление, спокойно прозвучавшее из смятенной и оглушенной своим неожиданным счастьем толпы.

— Примите от нас вот это,— продолжала та, что назвала себя Катериной Кукленко.— Мила, дай бумагу.

Высокая женщина, что бесконечно твердила слово «товарищи», смакуя его и повторяя на разные лады, достала из-за пазухи документ и протянула его. И хотя прочел я его на ветру, на автостраде, под волнообразный, то стихавший, то напрягавшийся до рева шум проходивших мимо танков,— необычный этот документ, тщательно переписанный каллиграфическим почерком, прочно врезался в память, так что даже теперь я без труда воспроизвожу его текст почти дословно:

«Командованию Красной Армии от тайного комитета насильно мобилизованных советских граждан, работавших в поместье Клары Рихтенау «Зофиенбург», крейс Штейнау.

Просим принять от нас для нашей доблестной Красной Армии, освободившей нас от фашистского рабства, муки белой 25 тонн, картофеля 100 тонн, брюквы вяленой 1 тонну, свиных тушек замороженных 38 штук, военнопленных из состава фольксштурма, взятых нами и находящихся под нашей охраной, 6 штук.

Просим также, учитывая наше желание мстить проклятым фашистам за наши горькие слезы и наших загубленных друзей, принять нас всех в Красную Армию в количестве 100 человек. В этой просьбе нашей просим нас не отказать.

Секретарь тайного комитета *Кукленко Екатерина*.

Комиссар комитета *Серебрицкая Людмила*».

Все это было так необычно, облик этих женщин так резко контрастировал с деловым, спокойным тоном заявления, а то, что произошло здесь, на немецкой земле, на порядочном расстоянии от линии фронта, было так незнакомо и интересно, что мы решили рискнуть— оторваться от колонны и свернуть с автострады. Шофер предложил Кукленко сесть в машину. Но она отказалась.

— У нас тут двое ципготных, плохо на ногах стоят, их возьмите,— сказала она и тоном, в котором чувствовалось, что она привыкла распоряжаться, скомандовала: — Тетя Паша, Анна Никифоровна, садитесь в машину к командирам!

Сама же она легко вскочила на плоский радиатор, бочком устроилась на нем и, поджав ноги, аккуратно, как онучками, обмотанные тряпьем, обвязанные бечевками, стала показывать дорогу.

Те, что посажены были к нам в машину, находились в таком состоянии, что не могли даже связно разговаривать. Пожилая — с распухшими, бревнеобразными ногами, с одутловатым, отечным лицом, тетя Паша, — все только вздыхала и тихонько плакала, размазывая слезы кулаками по щекам. Вторая же, помоложе, та, которую называли Анной Никифоровной, со страхом озиралась по сторонам, вглядываясь в пустые полосатые замерзшие холмы, и все спрашивала:

— А они назад не придут? Не вернутся? Нет, вы правду говорите, не вернутся?

Когда же из-за холма показались лохматые кущи старинного парка и поднимавшиеся над ними островерхие черепичные крыши замка, ее всю затрясло так, что заклацали зубы. Она сгорбилась, сжалась, присела на дно машины, будто инстинктивно боясь, как бы ее не заметили тут вместе с нами.

— Чего жмешься, тетка? Теперь фашисту окончательный капут. Гитлеру теперь крышка навсегда и без поворота, — успокаивал ее автоматчик и показал на Кукленко, плотно сидевшую на капоте машины.

Ветер бил ей в лицо, он сорвал у нее с головы темный платок, растрепал косы, и они, большие и тяжелые, мотались за плечами. Она оказалась совсем молоденькой девушкой. Подставляя лицо ветру, она вся подалась вперед и улыбалась, как будто, тепло одетая, сытая, здоровая, бежала на лыжах.

— Вот, тетка, учись: страха не знает, и мороз ей нипочем. Орел-девка! — сказал автоматчик, восхищенно поглядывая на нее.

Женщина слабо улыбнулась:

— То ж Катя. Она у нас особенная... Сколько ее били, собаками травили даже...

У ворот в парк стояла дюжая пожилая женщина, одетая в немецкую шубу военного образца, с охотничьим ружьем в руках. Во дворе замка, против окованных железом дверей старинных каменных сараев, ходила другая женщина — в кокетливой и дорогой котиковой шубке, в мужских охотничьих сапогах и в

платке, по-русски обмотанном вокруг головы. За плечами у нее был немецкий автомат. Над позеленевшей черепицей острых замковых крыш, высоко поднятый на башенном флаштоке, бился по ветру красный флаг.

— Ай да бабы! Здорово распорядились, точно КП какое охраняют, — удивился автоматчик. — И флаг, ишь ты! Когда же вы это, черти, успели?

— Вчера... Ой, вчера утром, на рассвете, как ваши пушки загрохотали, — все еще трясась, ответила Анна Никифоровна, — что тут было, что только было! Думала — не выживу, умру со страху...

А через полчаса, сидя в одном из залов холодного, как погреб, замка, мы слушали рассказ о судьбе этих женщин и о том, что произошло тут вчера, когда в сорока восьми километрах восточнее началась артиллерийская подготовка.

Разные это были люди, и разные пути привели их сюда.

Катя Кукленко не только не помнила дореволюционной России, но и доколхозную деревню представляла себе смутно. Сознательная жизнь ее началась уже в колхозное время. Еще школьницей она помогала матери, знаменитому на Киевщине бригадиру, убирать буряки с высокоурожайных участков. Учаась в седьмом классе, она сама организовала из школьных подруг такое звено, что по урожайности обогнала мать и вместе с Марией Демченко получила медаль на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. О ней писали в газетах. Ее возили в Киев рассказывать по радио о своем сельскохозяйственном опыте. Почтальон ежедневно приносил к ней в хату пачки писем со штемпелями разных городов и областей страны. Писали ей незнакомые люди. Старики выражали свое уважение. Молодежь желала вступить в переписку со знаменитой девушкой. Крестьяне-опытники просили совета. Работая бригадиром, Катя старательно готовилась поступить в Сельскохозяйственную академию.

Но вот война — район отрезан, бежать некуда. Зондеркоманды охотятся на молодежь, как на ценного зверя, с собаками и с ружьями. Катя, пытавшаяся было спрятаться от мобилизации, попала в один из таких загонов. Избитую, связанную, ее бросили в грузовик. На правой руке выше локтя ей выжгли ляписом штамп с порядковым номером и с орлом, держащим в когтях свастику.

И вот человека, родившегося в стране, где эксплуатация и рабство стали уже чисто историческими понятиями, совсем еще юную девушку, с которой советовались ученые, которой

с уважением жали руку наркомы, пытаются превратить даже не в рабыню, нет, а в рабочую скотину с выжженным на коже тавром.

Во время долгих скитаний по концентрационным лагерям Катя Кукленко познакомилась с Серебрицкой, высокой, стройной рыжей девушкой. Она заметила ее в вагоне. Весь путь Серебрицкая молча просидела в углу, нахмурившись, ни с кем не разговаривая, обняв колени скрещенными руками и спрятав в них подбородок. Она ко всем прислушивалась и присматривалась, и трудно было понять, что у нее на уме.

Людмила Серебрицкая родилась в Минске, в семье уважаемого врача. Способная, но несколько рассеянная девушка, она по очереди увлекалась физкультурой, потом стихами, потом театром и, наконец, уже учась в Ленинграде в Политехническом институте, увлеклась философией и общественной деятельностью и вскоре стала секретарем факультетской комсомольской организации.

Война застала ее на каникулах, у постели больного отца. Она не нашла в себе силы покинуть умирающего старика и осталась в оккупированном Минске. Не зная никого в городе, она заметалась в поисках подпольной или партизанской организации. Но, прежде чем ей удалось связаться с подпольщиками, она угодила в эшелон «остарбейтер». Годы, проведенные в концентрационных лагерях, не сломили ее воли. В любых условиях она ухитрялась находить подходящих людей, сколачивала из них тайные ячейки, организовывала саботаж на работах, сыпала песок во втулки станков, бросала куски резины в бензиновые баки автомашин; пользуясь знанием немецкого языка, она проникала в лагерные канцелярии, умела прослыть за аккуратнейшего служаку и потихоньку выкрадывала там отпускные бланки для беглецов, фабриковала подложные документы для возвращающихся на родину.

Трижды она бежала из лагерей. Один раз ей удалось даже пройти пешком от Ла-Манша до Двины. Но всякий раз ее арестовывали, пытали, били и возвращали на этапные пункты. Она не сдавалась. Избитая, еле живая, лежа на залитом водой полу карцера пересыльного лагеря, она, глуша в себе боль, продумывала причины прошлых неудач и строила планы новых побегов.

И вот теперь, после третьего побега, понав в невольничий эшелон, медленно продвигавшийся на юг, в Силезию, она, сидя в углу, сразу заметила и отличила среди молчаливых, вздыхающих, плачущих, с горя переставших за собой следить, опустив-

шихся девушек маленькую черноглазую подвижную украинку, опрятно одетую, с толстыми черными косами, обернутыми вокруг головы аккуратным венцом. Людмиле понравилась стойкость, с которой та переносила свое горе, ее готовность помочь подругам, ее звонкий голос — озорной и неприятно крикливый, когда, стоя в дверях вагона, она самыми последними словами ругала часовых, и мелодичный, звучный, когда она заводила родные песни.

Сначала Людмила подумала о ней плохо: легкомысленная девчонка, сорное растение, легко переживающее пересадку на самую цоганую почву. Но после того как однажды утром Катя стала бранить девчат за то, что они сидят неприбранные, не умываются, не причесываются и «разводят заразу», Людмила стала присматриваться к ней всерьез.

— Дуры вы, дуры набитые! — кричала девушка, озорно сверкая черными глазами. — Вы думаете, лик человеческий потерять хорошо? Им, сволочам, фашистам-гадам, только это и нужно: чтобы мы о человеческом забыли, скотом стали, — к тому они, фашисты, и гнут! А это они, псы, видели? — И она яростно показывала шиш в щель двери, за которой плыл чужой однообразный пейзаж. — Я где-то читала, что великие наши революционеры, даже к смерти приговоренные, в тюрьме гимнастику делали, чтобы силу сохранить.

И действительно, должно быть, для того, чтобы раскатать подруг, она стала делать в вагоне гимнастику, делала ее упорно, под стук колес; и девушки с удивлением, даже с уважительным страхом смотрели на нее.

— А стоит ли беречь силу? Ведь на врагов работать придется? — спросила Людмила, желая окончательно ее проверить.

Черноглазая девушка вся вспыхнула:

— Я? На этих сволочей работать? На этих подонков?.. С моей работы они кровавой слезой заплачут. — И, приблизив смуглое лицо к Людмиле, жарко дыша на нее, зашептала: — Зачем мне сила? Без силы разве убежишь? Сгниешь в этом погребке без силы. Они только и хотят, чтобы мы силу потеряли.

— Тише. — Людмила осторожно зажала ей рот рукой.

— А что — тише? Пусть слушают. Никого не боюсь.

— Вот это-то и плохо: силу бережешь, а голову не бережешь.

Девушки внимательно посмотрели друг на дружку, потом улыбнулись, поняв друг друга. С тех пор их связала та прочная суровая дружба, какая возникает между людьми в лихие дни, перед лицом тяжелых испытаний.

Эшелон прибыл в Крайцбург, где находился тогда всесилезский рынок «остарбейтер» — рабов, которых ведомство бригаденфюрера войск СС Заукеля свозило сюда из оккупированных восточных стран. Под конвоем девушек выгнали из вагонов и отвели за город в здание пустого ангара. Здесь их выстроили рядами и запретили садиться. Появилась толпа людей, показавшихся девушкам очень похожими друг на друга: коренастых, красномордых, с квадратными лицами, с бычьими затылками, одетых тоже на один манер — в штаны гольф, в охотничьи куртки и зеленые шляпы с тетеревиными перышками. Девушки догадались, что это были здешние помещики. Были среди них и женщины, большеногие, неуклюжие, массивные.

Идя между рядами невольниц, женщины брезгливо подбирали юбки и зажимали носы платками. Всю эту группу сопровождал чиновник в черной фуражке с высокой тульей.

Помещики хозяйственно поглядывали на девушек, заставляли их поворачиваться, щупали крепость мускулов, и одна тощая, желтолицая, злая баба, в мужских брюках, со стеклом, даже требовала открывать рот, проверяя, целы ли зубы, не тронуты ли десны цингой.

Подруги стояли рядом.

— Как скотину на базаре... Ах, гады, ах, подонки! — шептала Катя.

Она была бледна, ее всю трясло, она тяжело дышала. Кровь сочилась из крепко закусенной губы. Казалось, вот-вот ее хватит припадок. Людмила тихонько погладила ее холодную, безжизненно висевшую руку. Вся эта процедура была уже ей знакома. О, она-то уже знала, что такое фашизм! И ненависть ее дошла до такой степени, что она перестала считать гитлеровцев за людей. И вот теперь, спокойная, холодная, как статуя, стояла она, гордо вскинув голову и презрительно глядя на приближавшихся. У отобранных девушек помещики бесцеремонно поднимали рукава, смотрели выжженные ляписом номера, называли их чиновнику. Тот записывал в блокнот, и два старых колченогих солдата-фольксштурмиста, в мундирах, болтавшихся на тощих телах, уводили отобранных в конец ангара и расставляли у стен, возле бланка с фамилией помещика.

— Мне не стерпеть. Если он до меня дотронется, я ему ногой в брюхо заеду, — шептала Катя, и капли крови из прокушенной губы текли по ее круглому девичьему подбородку и черными кружками отпечатывались на бетонном полу.

— Прикосновение гадины омерзительно, но оскорбить человека не может, — холодно ответила Людмила.

— Смотрите, как они стоят! Принцессы!.. Большевички, наверно, — сказал краснолицый толстяк с рассеченной бровью, приближаясь к подругам.

Людмила поняла его слова. Толстяк оглядел ее с головы до ног, довольно хмыкнул и протянул короткую веснушчатую, лохматую от рыжего пуха руку, чтобы пощупать ее мускулы, но встретился с таким взглядом узких серых глаз, что рука невольно отдернулась, и он затерялся в толпе, бормоча:

— Ну, ну, не очень... Здесь мы хозяева.

— Да, от таких лучше подальше... Не хотел бы я встретиться с этой большевистской Лорелеей в русском лесу, — понимающе отозвался другой.

— Я беру этих двух. Мне нравится их цветущий вид, — гортанным голосом произнесла желтолицая женщина в брюках. — Мне неважно, как они смотрят, мне важно, какие у них мускулы. У меня, слава богу, крепкие нервы.

И она презрительно посмотрела на опустивших глаза мужчин. Однако и она не подошла к девушкам, а приказала солдатам посмотреть и записать их номера.

Так попали подруги в большое имение «Зофиенбург», принадлежавшее полковнику Рихарду Рихтенау. Полковник воевал где-то на Восточном фронте, и хозяйство вела его жена Клара, та самая желтолицая дама в мужских брюках, со стеком, что отобрала подруг. Вместе с ними были отобраны еще пятьдесят девушек.

Жизнь их в «Зофиенбурге» началась с того, что у них отняли собственную одежду и остатки личных вещей. Взамен этого им выдали одинаковые комбинезоны из мешковины и деревянные башмаки, выдолбленные из липовых чурок. Их одежду фрау Рихтенау раздала в ближайший праздник немецким батрачкам, работавшим по найму. Этим преследовалось две цели: наградить и выделить немок и навсегда заколотить клин между ними и работницами с Востока.

Невольниц разместили в бывшей конюшне. Они жили по четыре в каждом стойле, где для них были сделаны нары в два этажа. Им выдали по охапке соломы и предупредили, что новую дадут только через полгода! Кормили их трижды в сутки, выдавая каждый раз кусок хлеба с примесью жмыха и отрубей и пол-литровую кружку бурякового варева, от которого отвернулась бы и скотина. Печей в конюшне не было. В крепкие силеские зимы девушки сдвигали нары и, чтобы не замерзнуть, ложились рядом одна к другой, грея друг дружку своими телами. Собственно, в замке были и другие пустовавшие помещения,

более приспособленные для жилья, но у Клары Рихтенау была своя система обращения с невольниками. Она стремилась заставить их позабыть об их человеческой сущности и голодом, холодом, побоями убить в них волю.

Последним звеном этой системы были телесные наказания. Провинившихся девушек волокли в гараж и били плетью. Экзекуции эти по совместительству исполнял Курт, шофер фрау Рихтенау — неуклюжий парень с длинными обезьяньими руками. Он делал это без злобы, совершенно спокойно, аккуратно, как всякую иную работу, какую ему поручали, и ни брань, ни слезы, ни крики жертв не изменяли каменно-бесстрастного выражения его длинного бледного лица. Но иногда во время экзекуции в гараж врывалась сама фрау Рихтенау, в своем мужском костюме, в шляпе, со стеклом. Некоторое время она издали следила за тем, как со свистом опускается бич, оставляя на теле быстро багровевшие рубцы, потом в глазах ее начинали сверкать дикие огоньки, тонкие ноздри горбатого носа начинали дергаться, она не выдерживала, выхватывала плетель у Курта и сама принималась бить жертву. И била как-то особенно, с оттяжкой, так, что сразу просекала кожу. Кровь и крики как бы подзадоривали ее, лицо ее мял тик, в уголках губ появлялись комочки пены, глаза дико блуждали. Иногда, войдя в раж, она действовала плетью, пока сама в изнеможении не падала на руки шофера.

Впрочем, после того как две ее жертвы умерли от побоев, а одна из девушек, не вытерпев оскорбления, бросилась в реку, начальство крейса запретило кровавые оргии в гараже, пригрозив отобрать невольников. Избиения прекратились, но весь строй жизни в «Зофиенбурге», тонко рассчитанный на превращение девушек в бессловесный рабочий скот, культивировался и после этого. Попав сюда, подруги инстинктивно угадали замысел своей хозяйки и объявили ей хитрую войну. Опытным взглядом Людмила, умудренная в таких делах, быстро выделила среди женщин наиболее надежных, с которыми можно было откровенно разговаривать. Катя, у которой со времени ее подвигов на свекловичных полях остались хорошие организаторские навыки, умение подходить к людям и подчинять их своей воле, сколотила тайный комитет. Сначала комитет поставил себе целью поддерживать работниц, не давать им опускаться, поднять в них дух. Они стыдили нерях, заставляли всех умыться, следить за собой, по очереди ухаживали за заболевшими, с особо истощенными делились своими порциями и во время работ утаивали для них картофель, зерно, муку. Комитет был хорошо

законспирирован, но работницы все время чувствовали его направляющую и поддерживающую руку, его волю, его помощь. В трудную минуту они искали его защиты и побаивались его.

Не чувствуя теперь себя одинокими, девушки понемногу начали выходить из своего безразлично-пассивного состояния. Когда главное было сделано, подруги стали действовать решительнее. В тайной борьбе с фрау Рихтенау они не стеснялись средствами, и необычайные, непонятные на первый взгляд несчастья одно за другим посыпались на «Зофиенбург».

То в ветреную погоду неожиданно вспыхнул и дотла сгорел сарай с сеном, и скот остался без корма. То начался вдруг ничем не объяснимый падеж молодняка. То свиньи, огромные, отличные свиньи, дородностью которых славилось поместье, предназначенные для мясных поставок на армию, стали заболеть странной болезнью — переставали есть, начинали худеть и потом дохли. Пала большая часть свиного поголовья, прежде чем приехавший в Бреслау ветеринар-эпидемиолог не нашел в кишечнике павших животных мелкой настриженной щетины. Свиноводство в поместье было святое святых. Им ведали батрачки-немки. Немоков арестовали, увезли в город, обвинив в саботаже. Но новые и новые неудачи продолжали подтачивать некогда процветавшее, образцовое хозяйство.

Тракторы останавливались, едва миновав парковую аллею и даже не выехав в поле. В их перегоревших подшипниках оказывался песок. Начальники элеваторов, куда фрау Клара сдавала свой урожай, грозили ей судом за зерно, зараженное клещом. Когда начался весенний сезон сахароварения и вскрыли бунты, оказалось, что буряки, всегда отлично переносившие зиму, погнили и превратились в отвратительный вопючий кисель. И даже с личной машиной фрау Рихтенау, голубым «оппель-капитаном», подарком мужа, хранившимся, как фамильная ценность, под специальным чехлом в замковом каретном сарае, что-то вдруг случилось. Он стал беспричинно останавливаться в дороге, с засоренной подачей. Однажды пришлось даже послать за ним трактор с буксиром. Это продолжалось до тех пор, пока Курт, решивший промыть бак, не нашел на дне его кусок каучука.

Катя Кукленко, маленькая черноглазая девушка, бригада которой несколько лет назад славилась на весь район своим мастерством, мудрой хозяйственной бережливостью, оказалась совершенно неистощимой в такого рода разрушительных выдумках. Весь опыт сбережения хозяйства от всяческих напастей

она повертывала теперь обратной стороной и направляла на разрушение. И так как в тайном комитете было уже двадцать девушек, исполнявших в поместье самые разнообразные работы, она могла через них осторожно и наверняка наносить удары, не оставляя при этом никаких следов.

Фрау Рихтенау приходила в отчаяние. И было от чего. Большое, еще недавно цветущее хозяйство явно разваливалось, не справлялось с государственными поставками, штрафовалось за негодность продуктов, продаваемых торговым фирмам. Она, конечно, догадывалась, откуда сыплются на нее удары, но наносившие их руки не оставляли следов. Она переменяла отношение к русским невольницам, запретила надсмотрщикам бить их во время работ, установила выходные дни, улучшила питание, сама появлялась среди них, пыталась с ними заговаривать. Ничто не действовало. Все эти русские казались ей похожими одна на другую, все на одно лицо. И это лицо смотрело на нее хмуро, грозно. Ах, если бы была рабочая сила, с каким удовольствием она отослала бы их всех до одной в концентрационный лагерь. Там бы с ними поговорили! Но приходилось мириться, маневрировать.

Помещица купила в государственном питомнике дюжину овчарок, специально натасканных на охоту за людьми. По ночам их спускали с цепи, они выли и грызлись во дворе, готовые разорвать каждого, кто высунется на улицу. Друг мужа, начальник гарнизона города Штейнау, прислал ей на постой шесть солдат из фольксштурма. Ночью они несли бессменный караул в комнатах замка, дежурили у выходных ворот. Но ничто не помогало. Поздней осенью сгорело несколько скирд необмолоченного хлеба. Впрочем, скирды горели и на соседних фольварках. Разве можно было установить, кто их зажег?

Фрау Рихтенау обратилась к богу и гестапо. Бог не откликнулся. Гестапо прислало чиновника. За сытным ужином, распаренный от вина, расстегнув ворот кителя, он сочувственно слушал жалобы помещицы.

— Пожары? Падеж скота? Не ново, увы, не ново. Клещ в пшенице? И это было. Да, дела на фронте неважные. Эти проклятые русские подходят к границам. Нет, нет, пока никаких репрессий... Осторожность, крайняя осторожность, с этими невольниками, в особенности с теми, что из России. Что там говорить, слишком много их навезли в Германию. Хозяину, имеющему в доме взрывчатый материал, увы, самому нужно ходить на цыпочках. Вы слышали последние сводки? Да, да, форсирована Висла. Страшные времена. Ах, эти русские, зачем только

мы с ними связались? А что пишет с Восточного фронта ваш уважаемый супруг? С Восточного фронта — как это странно теперь звучит, когда фронт где-то вот тут, недалеко!

Чиновник уехал утром, сопровождаемый охраной. А на следующую ночь фрау Рихтенау лежала в огромной холодной постели, не гася в комнате лампы. Она слушала вой псов во дворе под окнами, мерные шаги солдат, гулко раздававшиеся под сводами старого замка. В собственном замке она оказалась пленницей. И ей все время чудились худые лица рабынь, тени на запавших щеках, хмурые лбы, изборожденные преждевременными морщинами, и глаза, сверкающие из темных глазниц, угрожающие и страшные. Что-то они сейчас делают? Ей чудилось, что она слышит их зловеющий шепот. Они, наверное, что-то замыслили. Ах, ужасные времена!

Если бы только знала помещица, что делали эти женщины в те часы, когда она, дрожа в постели, прислушивалась к суровым шумам зимней ночи! В полутьме пустой конюшни с мохнатыми гроздьями иней, тускло светившимися по стенам, грея друг друга своими телами, невольницы сидели на лежаках, тесно составленных в виде круга. В центре этого круга возвышалась стройная фигура Людмилы. Низким звучным голосом девушка читала Маяковского, любимого своего поэта, целые поэмы которого со школьных лет помнила наизусть.

Плавилось сало в маленькой картонной плошке, дрожал и потрескивал фитилек. Огромная тень металась по стенам и потолку конюшни, и звучно, как удары маленького колокола, падали в притихшую толпу могучие, резкие, страстные слова. И казалось девушкам, что эти слова вылетают вместе с облачками пара не из посиневших от холода, растрескавшихся и обветренных губ их подруги, а звучат издалека — оттуда, с родной земли. Потом Людмилу сменяла круглоликая веснушчатая Анна Никифоровна, бывшая библиотекаря из Смоленска. Она еле ходила на толстых ногах, распухших от цинги. Большую бережно усаживали на облучок старых саней, и бледная женщина с синим провалившимся ртом по памяти пересказывала Чехова, Толстого, Горького.

Уже несколько недель она лежала на койке. Ни карцер в холодном замковом подземелье, ни угрозы не могли выгнать ее на работу. Но вот она начинала рассказывать, мысленно переносилась в далекий и милый мир, где еще недавно среди книг занималась любимым делом. Бледное отекавшее лицо оживало, под опухшими, тяжелыми веками сверкали глаза, тихий, надтреснутый голос крепнул, рос, заполнял промозглое помещение ко-

июшни, и девушки, забыв обо всем, подавались вперед, загипнотизированные звуками ее голоса.

Иногда бывала политинформация. Появлялась исчезающая куда-то Людмила и сообщала последние новости: сводку Советского Информбюро. Где она их брала, девушки не знали, да и узнавать не пытались. Подруги побаивались резкой, суровой Людмилы, но ей верили и с особым нетерпением ждали коротких ее сообщений.

Однажды она, обычно такая сдержанная и рассудительная, вскочила в окно конюшни, возбужденная, сияющая, простоволосая. Снежинки сверкали в ее рыжих, разметавшихся по плечам кудрях. Не спрыгнув даже вниз, не приглушая голоса, она закричала:

— Прорвали фронт, наши прорвали фронт! Идут к Ченстохову. Это меньше ста километров от нас. Скоро! Держитесь, девчонки, скоро!

И, припав к густо заиндеветой раме, эта крепкая девушка, всегда строго управлявшая своими чувствами, залилась слезами.

Вскоре по проселкам, ведущим на запад, на Опельн, на Штейнау, на Бреслау, хлынули потоки беженцев. Эсэсовские патрули с пулеметами сгоняли их с автострад, очищая большие дороги для войск, и беженцы плелись по замерзшим полям, по перелескам, увязая в снежной грязи, бросая в снегу велосипеды, детские коляски с узлами, ручные тележки с домашним скарбом, теряя в суতোлке детей. Поток паники, неудержимо хлынувший вдруг на запад, красноречивее сводок говорил о том, что происходит на фронте. Работы в поместье прекратились. Фольксштурмовцы на ночь запирали девушек в конюшни и бесшумно, с автоматами, ходили у дверей. Когда невольницам приносили еду, двое солдат становились возле баков с пойлом и стояли так, не опуская автоматов, наведенных на девушек, до тех пор, пока бак не опустошался. Вид у фольксштурмовцев был жалкий, испуганный. Они вздрагивали от каждого шороха, примирительно щерили запавшие, старческие, морщинистые рты, когда женщины открыто насмехались над ними. По распоряжению фрау Рихтенау у девушек отобрали обувь и спрятали ее, чтобы лишить их возможности выходить из конюшни.

Половянки ожили. Впервые под заиндеветыми сводами огромной конюшни зазвучал смех. По вечерам из зарешеченных железом окон неслись песни, простые и нежные мелодии далекой родины. Невольницы распевали их иной раз до глубокой ночи, и никто уже не смел им запретить. Мирные песни застав-

ляли обитателей замка нервничать, жечь всю ночь электричество во всех комнатах и залах.

Однажды утром конюшня проснулась от дикого визга. Какая-то девчонка, неумытая и нечесаная, пронзительно кричала, сидя на нарах. Ничего не понимая, женщины столпились возле нее. А та все надрывалась радостным криком, показывая пальцем на восток. Кто-то зажал ей ладонью рот, и тогда все услышали глухие звуки далекой канонады, еле различимые за смутным шумом парка.

— Свои,— шептал кто-то.

И опять все замерли, прислушиваясь. Нет, это не обман слуха. Канонада не приснилась девчонке в хорошем сне. Пушки били еще очень далеко, разрывы звучали глухо, словно картошку кто-то сыпал в подпол по деревянному лотку. И женщины слушали этот гром, как будто не пушки это били, а родной, знакомый голос окликал их издали.

— Дождались... Дожила... Хоть родная рука глаза закроет,— сказала тетя Паша, умиравшая от цинги и ревматизма, и истово закрестилась на осклизлый, заиндевший угол конюшни.

Женщины бросились к ней.

— Не помрешь, теперь не помрешь, свои не дадут, выйдут.

Все стали плакать, обниматься, нечто вроде припадка коллективной истерии овладело ими, и Катя с Людмилой никак не могли их унять. Тогда Катя крикнула:

— Песню, девчата, песню! — и низким грудным контральто завела любимую песню невольниц — «Катюшу», песню, напоминавшую им о молодости, о любви, о далекой родине, обо всем том большом, человеческом, чего они были лишены здесь. И все, сколько их было, даже тетя Паша, подхватили мотив. Хриплые звуки вылетали из распухшего рта тети Паши, и мутные слезы, как вешняя капель, ползли по одутловатым щекам, застревая в глубоких морщинах.

Под песню Катя исчезла в одном из окон, выходившем на крышу сарая. С тех пор как по двору рыскали овчарки, это был единственный путь, которым члены комитета общались с внешним миром. Пробежав по крыше, Катя спрыгнула на поленницу дров, оглянувшись, жадно вдыхая холодный утренний воздух, соскользнула вниз и, легкой тенью мелькнув в сероватом тумане, перебежала внешний двор и негромко, но настойчиво застучала в маленькое слепое окошко. К ее удивлению, стучать пришлось недолго. За окном не спали, форточка сейчас же открылась.

— Фрейлейн Катя... шнель, шнель, — пробормотал сипловатый голос.

Катя проскользнула в приоткрытую дверь. Здесь, в каморке замкового электромонтера Карла, слесаря из города Гинденбурга, антифашиста, с которым подружились девушки из тайного комитета, и черпали они новости о родине. У Карла был дешевенький радиоприемник! В одиннадцать часов он впускал к себе Катю или Людмилу, помогал им поймать Москву и молча садился в сторонке, куря длинную трубку, окутываясь облаками вонючего, ядовитого дыма. Это был одинокий, молчаливый человек. Дружба с ним началась с того, что однажды, когда несколько девушек слегло от цинги, он во дворе молча подошел к Людмиле, сунул ей в руку какой-то мешочек и показал на зубы. В мешочке были шелушащиеся головки чеснока. Это было еще осенью. С тех пор Катя и Людмила по очереди пробирались в его каморку слушать радио. Он никогда не разговаривал с ними, курил молча. Иногда доставал лекарство для больных. Девушки звали его «дядя Карл». Он был всегда неизменно спокоен. А вот сейчас, против обыкновения, этот непонятный им человек волновался. Он не сел с трубкой в углу в плетеное кресло, — остановив Катю на повороте, прошептал:

— Прорвали фронт. Из Штейнау фрау Клара получила приказ зажечь склады с зерном, с мясом и перестрелять скот.

Карл нервно потер костлявые, раздутые ревматизмом пальцы... Как немцу, ему тяжело говорить, что еще приказали господа из крейса фрау Кларе, но пусть женщины поскорее убираются из конюшни, пусть не сидят в ней ни минуты, пока не поздно.

Катя поняла: им грозит что-то страшное. Дяде Карлу она верила. Он не стал бы попусту волноваться. В голове ее сразу же мелькнул план. Может ли он оказать им последнюю услугу: перерезать телефонные провода, соединяющие замок со Штейнау? Немец молча кивнул головой: он это сделает сейчас же.

Катя опрометью бросилась назад. Позабыв всякую осторожность, едва добежав до окна конюшни, она закричала:

— Девочки, наши идут сюда! Слышите меня, девочки? Хватайте кто что найдет! — И, боясь, как бы не повторился припадок истерии, она соскочила в конюшню и начала выламывать железную штангу, которой когда-то приковывали в стойле поровистых коней.

Женщины поняли ее. Они рассыпались по конюшне, круша и ломая все, что можно было сломать и сокрушить, вооружаясь досками, палками, заступами и мотыгами.

Треск дерева, дребезг выбиваемых стекол подогревал их, поднимал самых робких. Вооружившись чем попало, женщины бросились к дверям. Стремительно распахнулись створки ворот, и, опрокидывая часовых, две толпы одновременно выплеснулись на замковый, мощный плитами двор.

Часовые были разоружены, да они и не пытались сопротивляться. Одна часть женщин, во главе которой, размахивая заступом, бежала Катя, бросилась к флигелю, где жили фолькштурмовцы, другая, предводительствуемая Людмилой, бежала через двор к замку.

Под яростными ударами железных штанг расщепилась, упала резная дубовая дверь. Кто-то стрелял сквозь нее по толпе, но грохот выстрелов потонул в шуме и криках, и только две женщины, упав на плиты, обливаясь кровью, своею гибелью предупредили остальных о том, что за дверью их ждет засада. Шофер Курт и дряхлый, едва стоявший на ногах от старости камердинер Рихарда Рихтенау с пистолетами в руках попытались задержать толпу в вестибюле. Они тут же упали с размозженными черепами.

В момент, когда во дворе слышались грохот и крики, фрау Рихтенау в дорожном мужском костюме металась по спальне, рассовывая по чемоданам деньги, бумаги, драгоценности, хранившиеся в сейфе. Машина с разогретым мотором с ночи ждала ее в парке у заднего крыльца. Курт и старый камердинер, самые верные ее люди, должны были зажечь склады с зерном, холодильник с невывезенным мясом и деревянное здание конюшни, в которой, без обуви, были заперты невольницы. Такой приказ она получила от самого крейслейтера.

Но когда все уже было подготовлено, что-то случилось во дворе. Фрау Клара подбежала к окну, приподняла штору затемнения и тотчас же отпрянула. В морозной вечерней мгле неясно маячили фигуры в комбинезонах из мешковины. Помещица схватилась за телефон. Трубка зловеще молчала. Фрау хотела бежать к выходу в парк, выход был еще свободен, там ждала ее машина, фрау сама умела водить авто. Но неужели оставить эти деньги, бумаги, фамильные драгоценности?.. Хотя немножко, хоть самую малость унести с собой! И она стала судорожно записывать банкноты в карманы бриджей, за пазуху.

Выстрелы внизу, в прихожей. Это Курт. Он задержит, он не пустит их. Грохот. Крики, топот на лестнице. Они прорвались? Боже! Шквал шагов в холодных просторах старинного зала, в гостиной. Бежать, скорее бежать! Прыжок к двери. Поздно, путь отрезан. Удары сотрясают дверь. Чем это они ко-

лотят? Вылетела филенка, чья-то худая, жилистая рука просунулась в образовавшееся отверстие и шарит замок.

— Вот она! — торжествующе кричит кто-то по-русски...

На мгновение толпа застыла в распахнувшихся дверях. Фрау Рихтенау увидела только разгоряченные лица, яростные глаза. Она упала на колени. Она протягивает женщинам горсти денег, она клянется отдать им все, все, все, что имеет, она молит их о прощении, она бормочет что-то о великой русской душе, о доброте русского сердца...

Но вот из толпы выделилась высокая рыжая девушка, огненные кудри ее разметаны по жалкой мешковине комбинезона. В руке у нее заступ. Ноздри тонкого с горбинкой носа гневно раздуваются. На чистейшем немецком языке она произносит:

— Молчи, негодяйка! Не смей говорить этих слов!

Нет, от них не ждать пощады. Вспомнив вдруг о пистолете, фрау Рихтенау выхватывает из кармана маленький дамский браунинг и тут же падает на ковер с раскроенным черепом. Ее конвульсирующая рука сжимает вороненую сталь, другая судорожно комкает горсть крупных и никому не нужных банкнотов. Людмила отбрасывает окровавленный заступ и совсем обычным, будничным голосом, сразу отрезвляющим всех ее подруг, говорит:

— Собаке собачья смерть! Теперь, девушки, тихо, ничего не ломать, не портить. — Она строго обводит толпу стальными узкими глазами и прибавляет не громко, но так, что это слышат все, даже те, что стоят сзади в другой комнате: — Слышали?

Между тем Катя Кукленко со своей группой выводит из флигеля пленных фолькштурмовцев. Руки у них связаны, но, собственно, это сделано больше для порядка. Увидев бегущую толпу, смявшую караулы, фолькштурмовцы заперлись было во флигеле, забаррикадировались мебелью и приготовились обороняться. Но кто-то из женщин крикнул им по-немецки, что, если они сейчас же не вылезут из своей норы, флигель зажгут. Настала минутная пауза, и после нее в форточке окна показалось белое полотенце, привязанное к ручке швабры. Остатки braveго гарнизона капитулировали без выстрела, были разоружены и торжественно отконвоированы в замковый подвал.

Отобранном оружием Людмила сейчас же вооружила девушек из комитета, поставила караулы к замку, к складам, к воротам. Катя Кукленко занялась хозяйством. Послала людей учесть зерно, мясо, все запасы поместья. Отрядила бригаду на замковую кухню готовить обед, разместила девушек в комнатах.

Потом они подумали и о безопасности. Девчата побойчее



были вооружены трофейными автоматами, винтовками и охотничьими ружьями из коллекции Рихтенау. Те, кому не хватило, получили старинные кремневые пищаля, алебарды, вилы и топоры. Четверо самых толковых и храбрых были высланы на шоссе. В случае, если они увидели бы приближение карателей, они должны были зажечь захваченный с собой бачок с бензином. Девушки приготовились к борьбе, даже к осаде. Канонада, доносившаяся с востока все громче и громче, бодрила их, поддерживала в них уверенность, что они смогут продержаться до подхода Красной Армии.

Бачку с бензином так и не суждено было загореться. Ранним утром опрометью прибежали девчата, посланные на дороги. Они неслись во весь дух по двору, выкрикивая одно только слово:

— Свой, свой, свой!

На все вопросы, задаваемые им, они повторяли:

— Свой... там на шоссе танки. На шапках звезды... В шубах, в валенках... Ну, свой, настоящие!

И тогда все женщины, сколько их было в замке, ринулись к автостраде. Даже тетя Паша, не поднимавшаяся уже несколько недель с перетертой соломы нар, поплелась за толпой. Ее подхватили на руки и понесли через парк, через заснеженные поля к шоссе, по которому тянулась, изгибаясь на холмах, бесконечная стальная змея прорвавшихся танков...

Вот, пожалуй, и вся история, которую узнали мы от участниц этих событий, сидя в холодном и мрачном, облицованном черным дубом кабинете владельца замка «Зофиенбург». В старинном камине красно и жарко тлел уголь. Пурга неистовствовала за окном, выла в трубе, сухим снегом скреблась в стрельчатые окна, в которых из цветных стеклышек, оправленных в свинец, были выложены сцены средневековых охот. Трепетало в камине синеватое пламя, танцевавшее над угольями. В комнату выдувало пахнущий серой дым. В соседних залах, тонущих во мраке, потрескивал старый паркет. Мерно, медленно отступивал маятник старинных часов, изредка хриплым, надсаженным голосом вещавших течение времени.

Все это было чужое, из незнакомого нам страшного мира. Но в эту комнату, уставленную мебелью минувших веков, похожий, не обращая внимания на необычайность обстановки, входили озабоченные женщины и деловито докладывали худенькой девушке с огромными черными, глубоко запавшими глазами самые обыкновенные хозяйственные вещи. Поросята хотят есть, из каких запасов варить им мешанину? Нужно просушить зерно, которое сами же подмочили недели две тому назад, а то

сгорит, если его не перелопатить. Следует почаще менять девчат на постах, потому что к вечеру мороз крепчает. Доложили и о том, что в подвалах замка найдено много постельного белья, которое может пригодиться для госпиталей.

Потом вошел сутулый старый немец с длинной кривой трубкой и, комкая в узловатых, с раздутыми суставами пальцев выгоревшую зеленую шляпу, предложил девушке пустить движок, дать электричество и воду, чтобы не полопались трубы батарей. Это и был дядя Карл. По старой солдатской привычке, он стоял перед Катей навтыжку и говорил с ней так, как будто она была владелицей замка. Пожилая, болезненного вида женщина принесла в подоле и высыпала на стол груду ложек и другого столового серебра: пригодится для какой-нибудь военной столовой.

Маленькая проворная девушка, с головой, увенчанной черными косами, с усталыми и прекрасными глазами, отдавала короткие и такие деловые и властные распоряжения, как будто она давно управляла хозяйством этого огромного замка, а не была всего несколько часов тому назад одной из невольниц с номером, выжженным ляписом на правой руке.

В углу сидела ее подруга. При свете картонной плошки, бросающей живые отсветы на ее золотые кудри, она деловито записывала в реестр драгоценности, найденные в замке. Равнодушно считала камни и, сосчитав, небрежно отбрасывала в сторону кулоны, серьги, кольца, колье, медальоны, валявшиеся тут же перед ней беспорядочной грудой. Она готовила к сдаче Красной Армии эти ценности, найденные женщинами в тайниках фрау Рихтенау.

А рядом во дворе гремели цепями, рычали и выли в конурах голодные псы, специально натасканные для охоты за людьми. В просторной спальне, у кровати под резным балдахином с гербами, среди разбросанных по полу банкнотов и ценных бумаг, зажимая ком ничего уже не стоящих банкнотов, лежал труп Клары Рихтенау, до которого никому не было дела. На позелевшем лице так и застыло выражение ужаса и бессильной ярости.

А в маленьких комнатах верхнего этажа, у заросших искристыми морозными папоротниками темных окон, из которых открывался вид на автостраду, толпились женщины и, проскребывая дырочки в морозном слое, увеличивая их дыханием, смотрели во тьму, где за вершинами темневших столетних лип бесконечной чередой тянулись белые, дрожащие во тьме длинные огни, то исчезавшие, то снова вонзавшие в небо снопы лучей.

Это продолжали идти на запад танковые дивизии, вливавшиеся в прорыв и окружавшие Силезию. Провожая глазами огни машин, освобожденные полонянки шептали:

— Свой! Ведь это подумать только, девчата,— свой! С ума можно сойти! Свой же! — шептали, наслаждаясь не только смыслом, но и звучанием этих слов.

*1945 г.*

Эту историю, одну из самых удивительных, какие мне доводилось слышать, путешествуя за рубежами родины, я начну с конца. И не потому, что сам ознакомился с ней именно в таком порядке, а по тому странному, на первый взгляд, закону, по которому на войне при дальнобойном обстреле сначала видишь вспышку разрыва, а потом уже слышишь далекий выстрел.

Так вот, друзья, в пятилетие знаменитого словацкого восстания довелось мне с одним из славных партизанских командиров, Алексеем Егоровым, что пришел в те дни через фронт со своими закаленными в лесных боях людьми на помощь повстанцам, побывать в местах, где мы воевали когда-то вдали от родины, на чужой земле. Один из ветеранов восстания, в прошлом слесарь, а тогда уже приматор крупного города, возил нас по местам давно отшумевших схваток. Повсюду мы встречались с повстанцами и партизанами, вернувшимися к своим обычным делам. Некоторые из них за эти годы изучили русский язык. Можно было уже говорить без переводчиков, и, как всегда бывает при встрече однополчан, в беседах этих каждый слушал только самого себя, и сами беседы состояли из восклицаний: «Вы помните?», «А ты не забыл?», «Эх, было время», «А помнишь, мы в те дни?..» — и прочее в этом роде.

Егоров оставил здесь о себе хорошую память. Но к былой боевой его славе время уже примешивало аромат легенд, и человек этот, инженер-экономист, скромный советский работник,

немало смущался, когда целые деревни выходили навстречу нашей машине, когда при его появлении сами собой возникали вдруг митинги, и совсем уже растерялся, когда в одном селении, где некогда располагался штаб, его встретили колокольным звоном.

А машина забиралась все дальше и дальше, в глубь лесистых гор, уже рыжевших и багровевших у подножия, но еще сохранявших изумрудную зелень вершин. У повстанцев не было здесь организованных боевых соединений. Партизанские группы, действовавшие самостоятельно, сражались на свой страх и риск, но сражались умело и держали под контролем дороги и перевалы. Особенно отличался в те дни отряд Яношека. Действовал он своеобразно: все время менял место расположения, удары наносил всегда ночью, всегда внезапно и в самых неожиданных местах. Но где он располагался, кто был там командиром, мы тогда так и не узнали, ибо связи с этим отрядом не удалось установить.

Особенно все путало название отряда. Яношек — полуполулегендарный герой словацких горцев. По преданию, он, пастух и разбойник, всю жизнь сражался с мадыарскими феодалами: жег их поместья, а добро раздавал крестьянам. Все это были «дела давно минувших дней». Но так как горцы вообще народ романтический, а сливовица и боровичка в этих местах отменно крепки, среди волонтеров, что спускались в повстанческие отряды с горных пастбищ и далеких лесных разработок, жила тогда легенда, будто сам герой древних песен встал из гроба, чтобы включиться в борьбу народа с поработителями родной земли.

И вот машина распутывает крутые петли горных дорог, вдоль которых когда-то действовали партизаны неведомого Яношека. Наш спутник остановил машину на перевале. Отсюда, сверху, лесистые горы, как бы набегающие одна на другую, походили на зеленые волны вздыбленного штормом моря. Горизонт во всех четырех направлениях тоже был волнистый, и хотя машина стояла на ровном асфальте хорошей дороги, чувствовалось, что заехали мы в глушь.

Спутник наш показал в сторону одной особенно высокой вершины, зеленый гребень которой, как бы взмывая над остальными, упирался в белесое осеннее небо.

— Это Яношеков вршник, по-вашему — Яношекова гора, самая высокая на этом хребте. Всмотритесь, вы ничего на ней не видите?

До горы было еще добрых двадцать — двадцать пять кило-

метров, но чистота горного воздуха так скрадывала перспективу, что все вокруг точно бы приближалось, и нам показалось, что на самой вершине различается что-то вроде белого кристалла, теряющегося в медленно плывущих облаках.

— Башня?

— Памятник, — ответил спутник, и лицо его при этом стало задумчивым.

— Такой огромный?

— Около тридцати метров.

— Кому?

— Через час мы там будем, узнаете. — В тоне ответа было что-то такое, что помешало повторить, казалось бы, вполне естественный вопрос.

Дорога стала еще круче петлять, то вползая на лесистые хребты, то лепясь по узким террасам над пропастями, то сбегая в долины, где клокотали лохматые, сердитые речки. У какого-то поворота она вдруг раздвоилась: от старого, выложенного шинами асфальта отвалилась новая, широкая, еще не обкатанная магистраль. Петляя, она стала забираться все выше и выше в гору; хмурые ели с опущенными плечами закрыли солнце, ключья облаков, застрявших между ними, лениво клубились над дорожным полотном. Стало прохладно, стекла машин запотели. Но вот еще крутой поворот, ели разом разбегаются в стороны — и перед нами залитое солнцем большое, по-видимому искусственное, плато.

Посредине его на массивном кубическом основании возвышается огромный обелиск, сложенный из белого камня. Он так высок, что острая его вершина вспарывает белоснежные шубки курчавых облаков, торопливо пробегающих над горами. На асфальтированной площадке стоят два больших экскурсионных автобуса. Сидя на подножках, шоферы деловито закусывают, прихлебывая пиво прямо из горлышка коричневой бутылочки. Целая группа мальчиков и девочек в красных галстуках молчаливо окружает худощавого человека с пустым рукавом, заткнутым за пояс. Над детскими головками — черными, белокурыми, рыженькими — возвышается красивая голова девушки, должно быть, учительницы или пионервожатой. Девушка слушает безрукого с тем же искренним вниманием, что и ее питомцы. Меж длинных ресниц ее — влага, и от этого глаза девушки, большие, синие, кажутся близорукими. Когда мы приехали, экскурсовод, по-видимому, уже заканчивал рассказ. Девушка отвернулась, вытерла глаза, что-то сказала детям. Те быстро, без обычных в таких случаях толкотни, смеха, пререканий, вы-

строились парами, поднялись по ступеням монумента и постепенно втянулись внутрь обелиска, который при ближайшем рассмотрении оказался полым.

Еще ничего не понимая, но уже почему-то очень волнуясь, мы пошли вслед за детьми. Как раз в это время в проеме дубовых дверей показались самые маленькие из ребятишек. На румяных их личиках лежала печать недетской серьезности, даже торжественности. Внутри обелиска оказался просторный зал. На мраморном пьедестале возвышался дубовый гроб. Верхняя крышка его была из толстого стекла и позволяла видеть обгорелые человеческие кости. Венки и букеты — старые, уже увядшие и совсем свежие, должно быть, сегодня положенные, — лежали на возвышении. Казалось, гроб стоит на пестром ковре. Запах увядающих полевых цветов, запах сена, такой простой, домашний, наполнял эту необыкновенную усыпальницу.

Даже не пытаясь скрыть свое волнение, Егоров спросил:

— Чьи это кости?

— Командира Яношекова отряда, — ответил наш спутник. — Он погиб тут, на этой горе.

— Кто он был, как его звали?

— Не знаю. Он так никому и не назвал своего настоящего имени.

Мы стояли перед дубовым гробом. Вместе с лучами буйного осеннего солнца, властно врывавшимися через открытую дверь в тихий полумрак мавзолея, вместе с беззаботным птичьим щебетом снаружи всплывала тихая песня, которую выводили согласные детские голоса. Потом один за другим мы на цыпочках вышли из усыпальницы.

Ребята, рассыпью сидевшие на ступеньках, пели. Им подтягивали шоферы, окончившие завтрак. Девушка-учительница машинально дирижировала хором, думая о чем-то своем. Близость русского и словацкого языков позволяла нам понять и смысл песни. В ней говорилось о Яношеке, что с волашкой в руке бесстрашно выходил на поединок с закованным в латы бароном, о его доброте, о том, как щедрой рукой раздавал он беднякам отнятое у баронов золото, а сам носил одну и ту же полотняную рубаху, которую стирал в роднике и которую штопала ему мать. И еще говорилось в песне, что Яношек не умер, что всякий раз, когда краю его грозит опасность, встает он из гроба, берет верную волашку и с нею храбро идет на врагов народа. И еще говорилось в песне, что недавно, в дни фашистской оккупации, люди снова видели его в родных горах, как сражался он один против целой фашистской рати и, когда фашисты тучей

облепили его, вызвал на себя небесный огонь и снова погиб в нем вместе с бесчисленными врагами.

Много героических песен, возникших в годы последней войны, довелось мне слышать. Но такой странной песни, в которой столь причудливо старая легенда переплелась с новой героической былью, я не слышал ни разу.

— Кто сложил эту песню?

— Не знаю, — ответил наш спутник и, подумав, прибавил: — Народ. Собственно, это старая песня о Яношеке. В каждом крае поют ее по-своему. Они все время меняются и молодеют, эти песни.

— Это о нем? — спросил партизанский командир, поводя рукой в сторону обелиска.

Наш спутник утвердительно кивнул головой.

— Но небесный огонь?.. Откуда взялась эта мистика? Молния?

— Нет, не молния. Но огонь все-таки был. — Заметив наши удивленные взгляды, приматор усмехнулся: — Поедьте вниз, в долину. Вон туда, где шахтные копры. Я вас познакомлю с одним человеком, он вам все объяснит.

И мы отправились в долину, на одну из совсем молоденьких, еще не обросших зеленью улочек нового шахтерского поселка. Отыскали на ней хорошенкий домик под черепицей, новенький, веселый, как только что отчеканенная монетка, и там познакомились с Миланом Л., забойщиком здешней шахты, с женой его Ярмилой, маленькой толстенькой женщиной со смешливыми глазами, с очаровательными ямочками на румяных щеках, и с их сыном, худощавым смуглым курчавым мальчонкой, у которого было необычное для этих краев имя — Иван.

Узнав, кто мы и откуда, хозяин долго тискал наши руки в своих шершавых ладонях, и с его угловатого лица, отмеченного черными пятнышками угольной пыли, не сходила открытая, радушная улыбка. Жена же его, как мне показалось, будто вся подобралась, стихла, точно грустная тучка заволокла ее задорное, жизнерадостное лицо. И хотя вскоре она уже суетилась, ловко накрывая в молоденьком садике стол, раскладывая на тарелки домашнюю снедь, мне продолжало казаться, что она вся напряжена и украдкой посматривает на мужа, будто взглядом советуясь с ним о чем-то очень для нее важном.

— Вот Милан вам расскажет о Яношековом отряде, — сказал наш спутник, когда мы уселись за стол. — Милан в нем воевал.

— Да, я был в этом отряде с того дня, когда мы вон там,

на реке, пустили под откос машину с карателями, и до последнего боя вон на той вершине.— Он показал навверх, где, покрытая оранжевыми красками заката, выделялась Яношекова гора. Обелиск на ней казался теперь золотым, он будто бы даже излучал сияние на фоне темнеющего неба.

— И вы знали того, кто называл себя Яношеком?

Шахтер вопросительно взглянул на нашего спутника. Тот понял этот взгляд и покачал головой:

— Нет, Милан, я им ничего не говорил. Ты сам все расскажешь советским товарищам.

— Ярмила, пусть бабуся сходит в лавочку за пивом и возьмет с собой Ванечку,— распорядился хозяин.— Пусть они там скажут, какие у нас с тобой гости, и пусть нацедят нам из той новой бочки.

Дождавшись, пока старушка с эмалированным кувшином и прыгающий вслед за ней цыгановатый мальчик миновали палисадник и скрылись за калиткой, Милан продолжал:

— Яношеком он никогда себя не называл. Это уж как-то само собой в народе пошло. А он звал себя Иваном. Но и это, должно быть, было не его имя. А настоящего его имени и фамилии никто не знает.

— То правильно,— подтвердила хозяйка. Она стояла теперь у стола. Пальцы ее крошили и мяти хлеб. Выражение тревоги и грусти как-то очень не шли к ее хорошенькому задорному лицу.— Даже мне он своей фамилии не сказал. Даже мне!

— Но отряд свой мы называли Яношековым. Это верно. Имя это было у нас вроде знамени. Яношеков отряд!

— Ну, кто же он был, этот Иван?

— Ваш человек. А вот кто и откуда, он нам так этого и не сказал... Ночью под самое рождество непогода разыгралась, метель в горах гуляла. И слышали многие люди сквозь вой ветра, будто какой-то самолет в небе кружится. А когда мать Ярмилы, вот наша бабушка, пошла на заре в костел, на дорожке в поле наткнулась она на неизвестного человека. Он был без сознания, почти замерзший и в беспмятстве говорил всё русские слова. Подумала бабушка: «Может, это человек из Советского Союза?» Она побежала домой, крикнула Ярмилу. Вместе они кое-как доволокли его на саночках до двора, спрятали на чердаке, отогрели.

— Он был моим мужем,— неожиданно сказала Ярмила и вызывающе посмотрела на нас.

— Это так,— спокойно подтвердил шахтер.— Иван-малень-

кий, мальчик-то,— это не мой, это его сын. Только он того не знает.

— Милан Ванечку даже больше, чем Катюшу, любит. У нас ведь еще маленькая Катарина есть. Мы ее зовем Катюшей. Это как у вас в песне: «Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой...»

Последние слова хозяйка пропела чистым, приятным голоском. Теперь, когда она высказала все, что ей, по-видимому, было трудно говорить нам, к ней вернулась прежняя жизнерадостность, на щеках опять заиграли ямочки, а в больших черных глазах зажглись веселые, озорные огоньки. А тут еще подоспел изрядный кувшин молодого пива. Разговор оживился, исчезла всякая связанность. Супруги принялись наперебой рассказывать об отряде, и из слов их постепенно начал вырисовываться живой образ того, чьи обгорелые кости покоились на вершине горы.

Нетрудно понять, что история эта не раз повествуется за этим столом. Иван-маленький знал ее во всех подробностях. Теперь он сидел на коленях у названного отца, требовательно глядел на него большими настороженными глазенками, то и дело вставая в разговор, уточняя разные, особенно полюбившиеся ему подробности.

Впрочем, во всей этой истории не оказалось ничего тайного. Незнакомый человек, спрятанный сердобольной старушкой на чердаке, оказался веселым, разбитным парнем. Он сказал, что бежал от мадярских оккупантов с Закарпатской Украины. Вскоре он уже считался работником, деловито ходил по двору, колол дрова, чинил ставни, двери, латал крышу. Через Ярмилу он свел знакомство с несколькими парнями с соседней шахты, а спустя некоторое время через них устроился на работу и понемногу заслужил среди шахтеров уважение, как человек трудолюбивый, сноровистый, сведущий в подземных делах. Впрочем, это объяснялось не только его шахтерским мастерством, высоким заработком и всегдашней готовностью прийти на помощь товарищу или заплатить за общую выпивку в ресторане. Нет, в характере его было что-то такое, что влекло к нему людей. Он не дурно играл на аккордеоне, пел, а при случае мог и сплясать, да так, что на стойке сельского рестораника звенели, подпрыгивая, бутылки и кружки и штукатурка сыпалась с потолка.

Особенно когда сошелся с Миланом. От друзей он уже не скрывал, что был сброшен с советского самолета. Он рассказывал о своей стране, и теперь вот Милан, ставший вожакom тру-

дового соревнования на шахте, с застенчивой улыбкой признался нам, как трудно было тогда ему понять самое это слово «соревнование», как с недоверием выспрашивал друга он, какая же это сила заставляет рабочих самих заботиться о постоянном повышении производительности труда и почему остальные не сердятся на них за повышение норм, а, наоборот, окружают их почетом, идут за ними, считают их героями.

— Другие мы тогда были,— смущенно признался Милан.— Соревнование! Теперь это для меня обычно, как воздух, а тогда... Все думал, смеется над нами Иван, сказки рассказывает.

— А как они тогда с ним спорили, как спорили! — перебивает Ярмила.— Бывало, приведет Иван к нам в дом молодежь; пиво, закуски на тарелках. Самая бы пора танцы начинать, а аккордеон на стуле лежит,— все они с Иваном спорят, все спорят. Парни папиросы курят, девушки в рукава зевки прячут, а эти говорят и говорят, будто члены парламента какие... Он невозможный человек был, этот Иван. Пока не убедит, не замолчит.

— А кто из-за этого невозможного человека самому богатому жениху во всем округе отказал? Шутка ли, в те времена бедная девушка отказала хозяину гостиницы! — усмехается Милан, любовно поглядывая на свою хорошенькую черноглазую женку.

— Ну и отказала, только, уж конечно, не из-за ваших споров... Ты у меня тоже хорош! Все соседи давно с шахты пришли, помылись, причесались, переоделись, пообедали, жене ласковое слово сказали. А этого все нет. «Добрые люди, где муж?» — «А где ж ему быть? На шахте, с людьми спорит: соревнование, рационализация, методы, машины». Машины в голове, а молодая жена дома скучает, в окно глядит...

— Неудачно ты, Ярмила, себе таких мужей выбираешь! Не отказывала бы богатому-то жениху.— Шахтер смеется раскатисто, весело, как смеются добродушные люди, обладающие большой физической силой.— Ну, а раз ты дважды в жизни такой промах совершила, уж не жалуйся, терпи... Так вот, товарищи, начал я об этом нашем отряде,— говорит шахтер, отставляя в сторону пустую кружку, и продолжает прерванный рассказ: — ...На одной из таких вечеринок молодые шахтеры решили организовать партизанский отряд. При разговорах этих Иван был вроде как бы в стороне, но когда решение уже состоялось, он и предложил назвать отряд именем Яношека, старинного героя здешних мест. Это был глубоко законспирированный

отряд, в дела которого шахтеры сумели внести свою профессиональную сплоченность, организованность. Партизаны продолжали работать на шахтах. Аккуратно спускались они под землю, дело свое делали добросовестно, были дисциплинированы, чем и заслужили себе у администрации репутацию людей преданных, от политики далеких. И когда ночью где-то в окрестностях гремел взрыв, летел под откос воинский поезд, валилась с моста автомашина с солдатами, загоралось бензохранилище, — никому и в голову не приходило, что это дело рук старательных парней с шахты, исправно посещавших костел, любителей попеть песни и знавших толк в сливовице.

Так продолжалось полгода. Партизаны действовали безнаказанно. Взрывы, пожары, аварии начинали уже серьезно мешать передвижению по горным дорогам, но власти района еще только начинали догадываться, что это не отдельные вылазки прячущихся в лесах партизанских групп, а что чья-то умелая рука расчетливо наносит удары то тут, то там, сама оставаясь невидимой, незаметной.

Между тем Красная Армия уже приближалась к границам Чехословакии. Когда у Дуклинского перевала загрозотали пушки, с шахты под разными предложениями стали брать расчет самые тихие, самые аккуратные, далекие от политики работающие парни, на которых хозяева особенно надеялись. И вскоре в поселке заговорили, что в горах объявился отряд, а имя Яношека зазвучало уже не в песнях, а в полицейских протоколах и донесениях разведок.

Я уже упоминал о боевых делах этого отряда, с которым повстанческому командованию так и не удалось связаться. Он продолжал действовать и тогда, когда восстание было подавлено. В Баньской Быстрице уже свирепствовали фашистские части, а тут, в горах, неведомый отряд по-прежнему продолжал наносить внезапные удары, оставаясь неуловимым. Он точно бы растворялся в серых густых туманах, которые осенью покрывают здешние горы, этот небольшой, неуловимый отряд. И так как он никогда не оставлял следов, в его действиях обитатели горных селений видели нечто сверхъестественное. Этой его неуловимости положил конец выпавший в горах снег: он фиксировал каждый след. Внезапные броски и исчезновения сделались невозможными. Тайна их была быстро разгадана. По следам отряда были брошены гитлеровские егерские части с пушками и минометами.

Тогда штаб отряда приказал партизанам разойтись по одному, вернуться в свои поселки и до поры до времени заняться

мирными делами. Только Иван с горсткой самых испытанных молодых партизан остался в горах. Они избрали своей базой Яношекову гору, где еще с осени были вырыты блиндажи, организованы пулеметные гнезда, создан запас продовольствия и боеприпасов. Уходя в горы, Иван сказал Ярмиле, что за них нечего опасаться, что они отсилятся на вершине до тех дней, когда сойдет снег и снова можно будет взяться за боевую работу.

— А может быть, и наши придут сюда,— мечтательно произнес он уже в дверях.

— Как назвать дитя? — спросила его на прощание мать Ярмилы.

— Назовите Яном,— сказал Иван уже с порога.— Яном, если будет сын.

Это было последнее, что слышали от него дома.

Умен и дальновиден был молодой человек, которого умудрили, должно быть, война и суровая партизанская жизнь. Все умел он учесть, рассчитать, предусмотреть. Но сам, прямой и честный, привыкший здесь, в Словакии, видеть вокруг себя лишь верных друзей, одного он не предусмотрел: позабыл об отвергнутом Ярмилой женихе. И владеец гостиницы, все еще не забывший обиды, выследил их уход и навел фашистских карателей на партизанский след.

Через несколько дней целая фашистская часть двинулась к горе Яноша. Она подошла скрытно, и утром, когда над хребтом стал таять морозный туман, часовой с передового поста донес на гору, что по дорогам лентами тянутся фашистские егеря, что ведут они на поводу лошадей, навьюченных минометами и боеприпасами, а внизу, в долине, уже развернулась артиллерия. Партизаны выбежали из блиндажей. С крутого откоса все было видно. Они поняли: пути отступления отрезаны.

Люди быстро разделились так, что в каждом из блиндажей оказался маленький гарнизон. Когда наступающие приблизились к гребню горы, заработало несколько пулеметов. Свинцовый шквал мгновенно вымел всю дорогу в зоне, доступной обстрелу. Тогда в ответ из долины ударила артиллерия. Эхо выстрелов и разрывов заматалось меж заснеженных хребтов. Горы вздрогнули. Розовый в утренних лучах иней потек с потревоженных ветвей.

Снаряды рвали, ломали, бросали, как траву, тонкие дубы, пихты, грабы, долбили блиндажи. Появились убитые, раненые. Высота отлично простреливалась, и артиллеристы, не жался снарядов, обрабатывали ее квадрат за квадратом.

Иван и Милан лежали рядом у одного пулемета. Когда

артиллерия начала стихать, они выползли на волю и оба-застыли у выхода. Казалось, какое-то гигантское, осатаневшее от страха существо мечется и пляшет на вершине горы, все кругом вытаптывая, выламывая, сокрушая. Но Иван, опытный воин, увидел все, что ему нужно было увидеть. Он порадовался тому, как удачно выбрали они место для обороны. Лучше не выбрал бы и сам Василий Иванович Чапаев, герой его детских лет, о котором он рассказывал словацким товарищам.

С юга и запада гора отвесно обрывалась, и здесь на нее не мог подняться ни человек, ни зверь. Только с востока гора была доступна. Там и вилась тропинка, по которой обычно ходили партизаны, но вся она была под обстрелом пулеметов. На этой тропинке храбрые люди, заняв удобную позицию, могли задерживать целый полк. У Ивана родился план. Он приказал достать веревки, которых вдоволь было запасено на партизанских складах, срastить их в одну и навязать на ней узлы. Потом, когда обстрел стих, веревка эта была привязана к прочному пню, а конец был сброшен в пропасть. Расчет был прост: все доступные подходы удерживались врагами, но кому придет в голову охранять отвесную скалу, хмуро нависшую над бездной?

Так, под аккомпанемент пулеметов, начался этот беспримерный отход. На брезентах спустили раненых, а потом по одному стали спускаться сами. Тем временем Иван и Милан переползали от одного пулемета к другому, перебежали по траншеям из блиндажа в блиндаж. Они решили отойти последними. Каратели не прекращали попыток прорваться на гору, но пулеметы сковывали их. Снова и снова принималась бить артиллерия. Гора смолкла, но как только пушки стихали и атакующие появлялись на тропе, среди дымящихся развороченных блиндажей, снова слышались выстрелы.

А между тем с крутого откоса в пропасть спускались уже последние партизаны.

— Давай теперь ты,— сказал Иван другу, который был контужен при обвале блиндажа.

— Я останусь.— Шахтер старался говорить твердо, хотя еле стоял на ногах.— Отойдем вместе.

— Чудак, обоих сразу веревка не выдержит.— Милан упрямо мотал головой.— Я приказываю тебе, слышишь? Пристрелю за невыполнение приказаний!

— Стреляй!..

Мгновение они смотрели друг другу в глаза почти с ненавистью, испытывая характер. Потом улыбка покривила губы Ивана, черные от пороховой копоти.

— Ладно. Как спустятся последние, пойдем вместе. А теперь — к пулеметам!

И еще сколько-то времени они отстреливались. Потом, в минуту затишья, Милану показалось, что товарищ его зовет. Он переполз в соседний блиндаж. Когда глаза освоились с полутьмой, он увидел, что Иван лежит на золотом ковре стреляных гильз, а сапоги его, как всегда начищенные, сверкающие, точно бы плавают в маслянистой луже, растекающейся по дощатому полу. Не поднимаясь, а только оглядываясь назад, он протянул Милану пакет.

— Возьми. Отнеси вниз, спрячь. Придут наши, отдашь. Первому же нашему офицеру отдашь. Слышишь? Это очень важно.

— Я никуда не уйду, Иван. Спустимся вместе или вместе погибнем.

— ...Да, я так ему сказал, Ивану, — продолжал рассказ шахтер. — Но он показал рукой на свои ноги, и я понял, что на досках не масло, а кровь. А он все твердит: «Пакет, пакет...» Голос у него слабел, а глаза смотрят свирепо. Я думаю: что делать? Одному мне не спустить его на веревке, я сам еле стою. Даже и пробовать нечего. Чтобы спасти его, нужны еще по крайней мере двое. И я решил спуститься вниз, передать кому-нибудь этот проклятый пакет и подняться на гору с кем-нибудь покрепче: с Тоником или с Карелом. Иван даже как-то сразу оживился и стал меня торопить: «Скорее, скорее, я этих на дороге еще с час продержу...» Только не понравилось мне, что заставил он меня наклониться и поцеловал меня. Но я тогда этого не додумал. Бросился я к веревке, стал спускаться, но слишком поторопился — не остерегся и где-то, почти внизу, сорвался, упал на камни. А когда пришел в себя, меня уже несли Тоник и Карел. Они, как и было условлено, сидели в кустах и охраняли нижний конец веревки. Я свалился чуть ли не на голову им. Очнувшись, я закричал не своим голосом: «Назад! Там Иван! Бросайте меня, лезьте за ним!» Карел ничего не сказал, он только отвернулся, а Тоник произнес так, будто рот у него был набит кашей: «Поздно. Там фашисты». Потом они объяснили, что, когда возились со мной, Иван еще несколько раз принимался стрелять. Было слышно, как ухают гранаты, потом раздался такой взрыв, что горы вздрогнули... Они сказали тогда правду.

Хозяин смолк, стал наливать пиво. Его рука дрожала. Пиво плескалось по столу, но он все же наполнил кружку и разом, как усталый солдат после долгого, утомительного марша, осу-



шил ее. Он тяжело дышал. Мальчик замер, прижимаясь к нему, маленькая полная женщина, опустив глаза, старательно перестирала полотенцем давно уже сухую тарелку, и та скрипела у нее в руках. Наконец шахтер произнес:

— Да, вот как оно получилось...

— Ну, а дальше?

— А дальше что ж?.. С закатом немцы сами с горы ушли. Страшна, должно быть, была им наша гора. Мы поднялись наверх и не узнали нашего лагеря. Строили его в лесу, а тут — лесосека, вкривь и вкось деревья валяются. Снега почти нет, его снесло, и всюду громоздится развороченная мерзлая земля. Мы нашли своих убитых. Немцы собрали их, аккуратно сложили в сторонке, даже ветками закрыли. Должно быть, очень уж поразило их это наше упорство. Но Ивана среди убитых не было. Тогда мы послали человека за лопатой и ломом и стали разбирать обломки блиндажа. Земля была закоптевшая, пахло гарью. А когда мы добрались до остатков накатника и подняли обугленные бревна, под ними у пулемета нашли обгорелые кости и нож.

Шахтер поднялся было из-за стола, но мальчик опередил его, соскользнул с колен, исчез в соседней комнате и вернулся, неся в руках короткий штурмовой нож. Он был без чехла, без ручки. Синяя окалина покрывала металл, но сквозь нее все еще можно было разобрать марку советского завода. Такие ножи входили в обязательный комплект вооружения наших парашютных войск.

— Вот этот нож,— сказал шахтер, бережно принимая из наших рук посиневший клинок.— Не плачь, Ярмила, зачем слезы показывать при посторонних?

— Я не плачу,— сказала хозяйка и каким-то очень женским жестом провела ладонью по своему лицу, ставшему вдруг некрасивым.

— Папа, а что потом пленный говорил? — требовательно спросил мальчик, снова усаживаясь на коленях отца.

— Ах, пленный... В самом деле. Так вот, после этого разгрома отряд наш возник снова. Он даже больше стал. Мы действовали и на шоссе и на железнодорожном полотне. Ну вот, раз к нам перебежал один мадыар, солдат из егерской части, что гору нашу штурмовала. Он нам и рассказал, что случилось, когда они на вершину прорвались. Очень их всех тогда поразило, что на ней не оказалось ни живой души. Куда девались люди? Кто стрелял? И вдруг из блиндажа — бах, бах!.. Бросились к проходу. Еще несколько выстрелов. Один солдат упал, а из

блиндажа никто не выходит. Тогда стали сбоку подползать к блиндажу. Забрались на крышу, кричали в продох: «Сдавайтесь — сохраним жизнь!» В ответ молчание. Но стоило неосторожно подойти к ходку — граната, другая граната... Тогда прикатили бочку с бензином, облили блиндаж и зажгли. И опять: «Вылезайте — сохраним жизнь!» И опять никто не вышел. А когда блиндаж уже превратился в костер, оттуда сквозь рев пламени послышалась песня. Какой-то человек слабым, хриплым голосом даже не пел, а выкрикивал слова «Интернационала». А потом взрыв... Вот и все.

— А пакет? — спросил Алексей Егоров, командир, любящий точность. — Вы отдали его нашим офицерам? Что было в пакете?

Шахтер кивнул головой:

— Я показал пакет вашим офицерам, они пожали плечами и вернули его мне. Там был всего-навсего кусок старой газеты.

Собеседник сделал движение, пытаясь встать. Шустрый, как синичка, мальчик снова сорвался с его колен и исчез в соседней комнате. На этот раз он вернулся с деревянной шкатулкой нехитрой кустарной работы. Это, должно быть, был сейф семьи, и из него сначала были извлечены паспорта, сберегательная книжка, какие-то бумаги, свернутые в трубочку деньги, а потом, со дна, конверт, аккуратно обернутый в прозрачный целлофан. Конверт еще хранил черные следы пальцев и пятна крови, побуревшие, почти выгоревшие. В конверте был кусок братиславской газеты тех дней, небрежно оторванный. На одной стороне заметка о торжественной встрече в Братиславе какого-то гитлеровского генерала, изложение последней речи Тиссы, произнесенной с амвона после воскресного богослужения. На оборотной стороне какие-то объявления о срочных распродажах. И все.

Мы долго рассматривали этот старый конверт, хранящий никому не нужную бумагу. И он показался мне последним, очень выразительным штрихом, дорисовывавшим портрет неведомого нам советского парня, называвшего себя Иваном.

— Ну вот и все. Больше ни рассказывать, ни показывать нечего, — сказал хозяин, бережно обертывая конверт целлофаном. — Вот и вся история.

— Папа, а про свою бригаду? — требовательно попросил маленький Иван.

— Про бригаду что ж, Ванечка... Бригаду мою, это верно, хлопцы зовут Ивановой. И не стыдно перед хорошими людьми: добрая бригада! Только уж это, сынок, особый рассказ...

В дверях появилась Ярмила. Она прижимала к груди ребенка. Как у всякой матери, держащей в руках спящего младенца, лицо ее дышало тихим довольством, и только припухшие веки напоминали, каким оно было недавно. Прижимая правой рукой ребенка, левой она разлила по кружкам остатки пива, но к нему уже никто не прикоснулся. Все молчали. И думал я в эту минуту о том, что в наш атомный век продолжают возникать легенды и что будут они рождаться всегда, пока живет человек, пока существуют такие неотделимые от него понятия, как честь, дружба, любовь к родине, национальная гордость, пока у народов, населяющих нашу планету, не угасла живая память.

Вот теперь, два года спустя после того, как вышел в «Огоньке» этот рассказ, я могу приписать к нему несколько строк, которые помогут по-новому понять случай с пакетом. Признаюсь, я, как и человек, мне об этом рассказывавший, думал, что герой повествования передал этот пакет лишь для того, чтобы заставить друга уйти, спасти его от верной гибели. Но вскоре после выхода рассказа полковник Медведев, автор отличной книги «В тылу врага», сам в прошлом большой партизанский командир, разъяснил мне, что такое толкование неправильно. Кусок словацкой газеты был своеобразным «удостоверением личности» парашютиста. В любое время мог найти его связной с другим куском этой же газеты. Сложив их по линии разреза, они могли бы безошибочно опознать друг друга. И он сказал, что человек, которого так тепло вспоминают в словацких горах, был советский воин, а возвращенный им пакет с куском газеты — его последний рапорт командованию.

*1943—1957 гг.*

**В** этот день дела задержали меня в партизанском велительстве, как поэтически называли по-словацки повстанческий штаб, разместившийся в здании, стилизованном под венгерскую готику. Уже ночью возвращался я в отель. Темные чистенькие улицы красивого города Баньска Быстрица, волею военной судьбы превратившегося в столицу словацкого восстания, в этот час были пусты. С темнотой схлынули с них людской шум, мотоциклетная трескотня, суетня военных автомобилей, вся эта нервная романтическая сутолока, придававшая городу суровый бивачный вид. Только редкие и слишком уж лихие окрики повстанческих патрулей да тягуче-сладкое пение скрипок, просачивавшееся вместе с жидкими полосками света сквозь затемненные окна рестораничков и кафе, нарушали тишину города, казавшегося теперь бесконечно мирным.

Чужая, очень яркая ущербная луна, поднявшаяся из-за гребней пологих лесистых гор, обволакивала острые крыши прозрачной дымкой холодного, равнодушного света. Порывистый сырой ветер, напоенный сытыми запахами осени, гудел в изломанных, коленчатых переулках, точно в самоварной трубе. Он осыпал мостовые рваным золотом кленовых листьев, сбивал с деревьев переспевшие каштаны, и они с треском падали на плитчатые тротуары, так что все время казалось, будто кто-то сзади бросает в тебя камни.

В этой светлой тревожной осенней ночи как-то все особенно подчеркивало, что ты на чужбине, оторван от родной армии, от

своих людей. Днем это почти не чувствовалось. Маленький повстанческий островок, окруженный наступающими немецкими частями, жил напряженной военной жизнью. Хороший, мужественный словацкий народ, вдохновленный успехами наступающей Красной Армии, поднял восстание против оккупантов и теперь яростно сражался, отбиваясь от наседавших со всех сторон немецких войск.

Эта атмосфера самоотверженной борьбы походила на ту, в какой жили мы в военные годы. Но ночью, когда все стихало и повстанческая столица погружалась в мирный сон, вверяя безопасность партизанским патрулям, которые, украсив винтовки липовыми ветвями, беззаботно болтали с девушками в темных переулках, — чувство одиночества, тоски по родине, по родным людям наваливалось со всей силой, овладевало всеми помыслами.

Увидев человека в форме Красной Армии, патрульные отскакивали от девушек и, улыбаясь во весь рот, делали винтовкой на караул. Редкие прохожие приподнимали шляпы. А четверо маленьких коренастых крестьян, в своих живописных вышитых рубашках и шляпах, спустившиеся с гор, должно быть, на вербовочный волонтерский пункт, встретив советского офицера, остановились, положили друг другу руки на плечи и вместо приветствия стали скандировать:

— Ру-да Ар-ма-да! Ру-да Ар-ма-да!

Все было чужое. И вдруг кто-то не очень громко и на чистейшем русском языке окликнул:

— Товарищ майор!

Я вздрогнул, но не оглянулся. Кто бы это мог быть? Белый эмигрант не стал бы так обращаться. Советских офицеров здесь было всего несколько человек. Все мы знали друг друга, а этот голос был незнакомый. Так кто же?

Шаги сзади печатались четко. Это был, должно быть, военный человек.

Ответить, нет? Повстанческая столица, да еще такая беспечная по ночам, несомненно кишела вражескими лазутчиками. Могла быть провокация. Нет, надо подождать, не оглядываясь, не отзываясь, дойти до какого-нибудь людного места. Ускорил шаги. Незнакомец не отставал, но и не перегонял.

— Товарищ майор, одну минуточку, — это прозвучало очень просительно, с надеждой и даже с обидой.

Нет, лазутчик сказал бы не так.

Я остановился. Передо мной был невысокий, прочно сложенный человек в форме старшего сержанта Красной Армии.

Только на пилотке его вместо нашей звезды были наискось пришиты две ленточки — красная и полосатая, цветов чехословацкого флага.

Вооружен он был весьма пестро. Немецкий автомат висел на шее наподобие саксофона, сбоку болтался тяжелый парабеллум в жесткой кобуре, и на поясе, туго перехватывавшем его гимнастерку, подвешенные за шпильки, висели итальянские гранаты — «самоварчики». Рукоятка кинжала торчала из-за голенища ярко начищенного сапога.

Так живописно вооружались иногда наши партизаны.

— Разрешите обратиться, товарищ майор! Старший сержант Красной Армии Константин Горелкин, а ныне, как видите, — он с добродушной улыбкой обвел рукой свою коллекцию оружия, — ныне чехословацкий повстанец.

Он крепко пожал мне руку небольшой, но сильной рукой.

— Простите, что я вас тут, на улице, остановил. Два с половиной года на родине не был, по своим истосковался вконец. Сегодня в велительстве увидел своего человека, свою форму — сердце так и заколотилось. Чуть к вам там не подошел, еле сдержался, верьте слову. Я ведь не знаю, с какими вы тут полномочиями, можно ли с вами разговаривать.

Он помолчал, явно волнуясь:

— И вот подкараулил вас, догнал. Может, нельзя? Скажите — я уйду.

Теперь я понял, что это, должно быть, один из тех советских людей, что были заброшены войной в далекие чужие страны и тут продолжали борьбу. Словацкие друзья с благодарностью рассказывали о нескольких таких партизанских отрядах из советских военнопленных, которые крепко им помогали, яростно, умело, стойко сражаясь в разных концах страны.

Хорошее, открытое лицо этого человека, его чистый и быстрый говорок, каким изъясняются в моих родных тверских краях, подтверждали, что передо мной несомненно соотечественник. Но на чужбине, да еще в таком месте, как повстанческий район, осторожность — закон жизни, и я подчеркнуто холодно спросил его, кто он, где жил и что делал до войны, как попал в эти края и что ему от меня нужно.

Ни на мгновение не задумываясь, он ответил:

— До армии жил в городе Калинин, работал помощником мастера на прядильной фабрике «Пролетарка». Жил во дворе фабрики, в семидесятой казарме, на третьем этаже, в глагольчике.

— Как звали рабочие вашу казарму? — спросил я, еле сдер-

живая радость, потому что тут, в чужом городе, я, кажется, встретил не только согражданина, но даже земляка. Он сказал: «в глагольчике». Так называют калининские текстильщики — и только они — боковые коридорчики своих общежитий, и диверсант даже самой хорошей школы никак не смог бы узнать и заучить такое специфическое выражение.

— Нашу казарму звали Париж, — ответил он с некоторым удивлением.

— Кто был Горохов? Вы должны тогда знать Горохова.

— Директор ФЗУ имени Плеханова. Я там учился, — сказал он уже совсем тихо. — У меня есть партбилет, посмотрите.

Теперь можно было, не таясь, не сдерживаясь, расхохотаться. Он был несомненно тем, кем себя называл. «Пролетарка» — фабрика, во дворе которой я вырос, где знаком мне каждый уголок. С партбилета — странного партбилета, от которого сохранилась только первая страничка, вклеенная в переплетик из жесткой кожи, — смотрело то же, только очень молодое и круглое лицо. И даже подпись секретаря райкома была мне знакома.

Так вот в каких невероятных условиях можно на войне встретить земляка!

Мы обнялись на чужой пустынной улице, два калининца, два советских человека, занесенных разными военными ветрами в горы Словакии. Он предложил вместе поужинать. Какое-то шестое, журналистское чувство подсказывало, что у этого парня с «Пролетарки» интересная судьба. Не теряя времени, зашли в ресторан «Золотой баран».

Увидев двух военных в форме Красной Армии, посетители маленького, стилизованного под сельскую корчму ресторанчика, — загорелые партизаны в штатском, с винтовками, стоявшими у столиков, с трехцветными ленточками на шляпах, повстанцы в щеголеватых мундирах, и сидевшие с ними девушки в военном, и девушки в национальных костюмах, — повскакали с мест и зааплодировали. Потом оркестранты, окружив нишу, в которой мы приютились, заиграли «Катюшу», все посетители, немилосердно перевирая слова, запели по-русски эту нашу песню.

— Как нас тут встречают! — сказал я, получив возможность усесться наконец за наш столик.

— А вы думаете, только здесь? Везде так, во всех странах. Красная Армия — теперь мировое слово. Понимают без перевода. Волшебная палочка. Оно нас везде кормило, укрывало, прятало, от преследований спасало.

— А вы и в других странах бывали?

Он только свистнул и махнул рукой, как будто спрошен был о чем-то само собой разумеющемся.

— Больше двух лет скитаюсь. Кабы знали вы, как надое-ло! Иной раз такая тоска возьмет, хоть в пропасть головой. И люди хорошие, и страны что надо, да разве с нашей-то, Советской страной, сравнишь!..

Он залпом выпил высокий литровый бокал пива, спросил, нет ли советской папироски, пожалел, узнав, что нет, и, приподняв вдруг со лба темно-каштановые густые волосы, показал лучеобразные синие рубцы на лбу:

— Видите... В августе сорок первого года под Смоленском ранило. Череп царапнуло, да, вишь, так удачно, что мозг-то не задело. Только крови порядочно потерял. Упал без памяти, а когда очнулся на наблюдательном пункте, — а сам-то я артиллерийским наблюдателем был, — наших уже никого нет. Кругом немцы. Хенде хох! Взяли меня, раба божьего. Которых тяжелых-то поперебили тут же на месте, а меня взяли. Я ходить мог. Сбили нас в транспорт и повели на запад. Пешедра-лом. Вот с того самого дня и скитаюсь по белу свету. У вас времечко есть? Ну часик-другой найдется, а? Очень мне хочется рассказать своему человеку, что я за это время пережил, пере-видал... Послушаете? Эй, приятель, нам еще два бокала!

И тут, в маленьком кабачке, под звуки оркестра, игравше-го тягучие, мелодичные, но чужие песни, Горелкин рассказал мне свою историю — удивительную историю советского сол-дата, попавшего в плен, увезенного далеко от родины, но и тут, за тысячи километров от своей армии, не признавшего себя по-бежденным, не сложившего оружия и не переставшего воевать.

Я опушу из его рассказа некоторые, слишком уже извест-ные теперь подробности о том, как обращались фашисты с военнопленными, как пешие транспорты таяли по дороге на запад, о лагерях, где делалось все для того, чтобы превратить человека в зверя, в рабочий скот, без мысли, без воли, готовый безропотно и молчаливо выполнять любую работу.

Горелкину удалось выжить, претерпеть все испытания плена и сохранить энергию и волю.

В Белостоке, в этапном лагере, пленных рассортировали. Группу, в которую попал Горелкин, посадили в товарный ва-гон и повезли на юг через Польшу, Чехословакию, Югославию. Среди пленных в вагоне оказался бывший учитель географии, сносно говоривший по-немецки. Старый австриец-конвоир, участник еще прошлой войны, проболтался ему, что везут плен-

ных в Грецию, в порт Салоники, который немцы тогда укрепляли, приспособливая для военных нужд.

Печальный поезд, с пулеметами на тормозных площадках, с платформой, на которой ехал вооруженный конвой, медленно пересекал Европу. Он тщательно охранялся. На остановках его окружали автоматчики. Бежать в этих условиях означало верную смерть. И все же почти на каждой крупной стоянке кто-нибудь да пытался бежать. Люди выпрыгивали из вагонов прямо на автоматы, навстречу верной смерти. Вряд ли кто из них всерьез думал уйти. Побег стал одной из форм самоубийства.

Горелкин и друзья, с которыми он сошелся в вагоне — донбасский шахтер Василь Копыто, электромонтер с рязанской электростанции Семен Агафонов и московский учитель Владимир Ткаченко, — не искали смерти. Они хотели жить, бороться. Они мечтали бежать, но бежать умело, сохранить жизнь, вернуться в армию.

План побега придумал Василь Копыто, человек неиссякаемой веселости и огромной физической силы. Он был очень прост, этот его план. Когда слякотной, дождливой весенней ночью поезд, скрежеща и пища тормозами на поворотах, тащился по горам Греции, друзья отодрали доски в полу вагона. В разверзшейся яме, сливаясь в продольные полосы, замелькала щебенка пути. Тогда они на руках начали спускаться в этот люк и, когда носки башмаков задевали за землю, опускали руки и падали вниз лицом. Выбросившийся на полотно должен был сейчас же лечь и, подавляя боль от ушибов, ждать, пока поезд не прогрохочет над ним. Сквозь туман, льнувший к голым серым хребтам, непрерывно сеял дождь. Тьма была так густа, что не видно было вытянутой руки. Из семи выбросившихся таким способом трое были перерезаны колесами. Но разве жизнь в плену, разве рабская работа стоили что-нибудь?

Когда грохот поезда стих в ущельях, Горелкин, Копыто, Агафонов, Ткаченко, отделавшиеся ушибами, отнесли останки погибших в кусты и по первой же горной тропинке свернули на север. Поначалу они решили двинуться по кратчайшей прямой — из Греции через Албанию, рассчитав пройти через район итальянской оккупации в Югославию.

— Чем вы питались? Как находили общий язык в чужой, далекой Греции?

Широкая улыбка расплылась по загорелому лицу Горелкина, и два ряда белых великолепных зубов точно осветили, сделали его моложе, интеллигентнее.

— Я же вам говорил, товарищ майор. Наш пароль — Красная Армия, хотите верьте, хотите нет, — это теперь везде понимают. Иной раз подберешься к деревне, стукнешь в крайнюю хижину и ждешь. Вылазит на крыльцо какой-нибудь сердитый иностранный дядек, слушать ничего не хочет, замахает руками: «Ступай скорее прочь: итальяно, итальяно!» Дескать, много вас тут шляется, а за вас итальянцы как раз и повесят. А ты тычешь себя пальцем в грудь: «Красная Армия! Советы!» И сейчас же другой разговор. Оглядится, в сени тащит, и поесть даст, и в дорогу соберет, а иной раз, если тихо в деревне, если оккупантов нет, и ночевать оставит. Так мы и шли.

В вагоне договорились держать путь напрямки — через Балканы, Среднюю Европу, Польшу, Украину, — до Красной Армии. Они рассчитали пройти путь за полгода. Но не такой короткой и не такой легкой оказалась эта дорога четырех советских солдат домой.

В Албании, идя горными тропами по малолюдным районам, они почти добрались до берегов Скутарийского озера, которое однажды в ясный день уже открылось перед ними с перевала в виде огромного сверкающего зеркала, повитого дымкой облаков. Но тут им встретился на шоссе транспорт скота.

Как потом выяснилось, итальянцы гнали этот отнятый у горных албанских пастухов скот на погрузку в порт Дураццо для отправки в Германию. За серыми круторогими волами, за тощими коровенками, ободранными и пыльными, жалобно ревущими от голода и усталости, бежали толпы женщин. Женщины плакали, причитали и не отставали от гуртов. Солдаты-итальянцы, черные увальни в трусиках и в пилотках, лениво стегали женщин теми же кнутами, которыми погоняли коров. Их было не очень много, этих конвоиров. Но, чувствуя себя в безопасности, они, покуривая, брели за стадом, часто подходя к подводе, на которой стояла покрытая ковром большая бочка с плескавшимся в ней вином.

И тут произошло то, что изменило и очень удлинило путь четырех советских солдат. Спрятавшись в придорожных кустах, они хотели было пересидеть, пока пройдут гурты. Но, возмущившись тем, как конвоиры обращаются с несчастными женщинами, они, к тому времени уже добывшие себе оружие, напали на них. Трех положили на месте. Остальные бежали в горы, даже не пытаясь отстреливаться.

Затем Копыто, выполнявший у друзей, как он сам выражался, роль «наркоминдела» и поддерживавший связь с местным населением, обратился к женщинам с речью. На чистей-

шем русском языке он заявил им, что они могут разбирать свой скот, освобожденный из рук фашизма доблестными войсками. Женщины, испуганные перестрелкой, не понимавшие даже, что же, собственно, произошло, молча лежали в серой пыльной траве, прикрывая головы руками. Убедившись, что слова его до аудитории не доходят, Копыто взял палку и разогнал скот. Волы и коровы разбежались по сторонам и, уразумев, чего от них требуют, лениво пощипывая траву, отправились обратно.

Неожиданно из-за ближайших склонов появились высокие, крепкие люди в живописных костюмах, со старинными ружьями. Это были албанские партизаны, догонявшие транспорт. Увидев, что дело уже сделано, они стали жать руки отважным иностранцам, а узнав при помощи все тех же универсальных слов «Красная Армия», с кем имеют дело, увели друзей к себе в горы, в каменные деревни-крепости, в которых, рассеянный меж гор, жил этот бедный, трудолюбивый, смелый народ.

В Албании, давно уже числившейся в списках держав оси страной покоренной, шла непрекращающаяся борьба. Четверо советских солдат, сами того не желая, включились в нее,— прервав путь на родину, стали помогать горным пастухам придавать своим летучим отрядам организованность воинских частей. Они не знали языка. Но на войне о человеке судят не по словам. Вскоре в этой маленькой стране у них было много друзей. И сами они полюбили открытых, смелых горцев, втянулись в их борьбу.

Радио доносило сюда, в черные горы, отзвуки великих битв, развертывавшихся на родных полях. Родина властно звала. И однажды они распростились с албанскими партизанами. Новые друзья снабдили их всем, что могло потребоваться в трудном пути, даже проводили до границы.

На этот раз после долгих споров решено было пробираться в Болгарию. Географически удлиняя свой путь, беглецы мечтали таким образом значительно сократить его во времени. Расчет у них был теперь таков: достигнуть Болгарии, сдать пограничным постам, быть интернированными, а потом через консульство потребовать возвращения на родину. Наивные мечты! Горелкин сам не мог скрыть усмешки, рассказывая о них. Оккупированная Гитлером Европа кипела и бурлила, как скованная льдом река, стремящаяся весной взломать свои оковы. В Болгарии, которую они мечтали увидеть мирной страной, далеко отстоявшей от всех фронтов, шла борьба,— даже более ожесточенная, чем в Албании. И снова активность четверых советских солдат не позволила им равнодушно пройти мимо.

По дороге они натолкнулись на партизанский отряд, осаждавший фашистский гарнизон на маленькой пограничной станции. Они присоединились к партизанам, вступили в бой, и опять их солдатский опыт пригодился болгарским товарищам, а традиционная любовь болгар к русским братьям быстро выдвинула друзей в партизанской среде.

Уже вскоре Константин Горелкин руководил большой партизанской четой — группой имени Христо Ботева. Три его друга воевали в его чете и заслужили уважение населения. Все лето и почти всю зиму чета, переросшая потом в отряд, успешно сражалась в горах Планины. Слава об отважных русских пошла далеко по долинам Болгарии. Отряд этот причинил немцам немало беспокойства. Сюда бежала болгарская молодежь, мобилизованная на службу в фашистскую армию. Наконец болгарское командование, по требованию немецкого посла в Софии, двинуло в горы части регулярной армии, поставив перед ними задачу ликвидировать знаменитый отряд партизан-коммунистов, якобы руководимый из Советской России.

Части эти, по плану немецких инструкторов, заняли перевалы, обложили отряд в горах и, зажав его, оттеснили в зону снегов. Это был дьявольский план. Теперь партизаны никуда не могли уйти, не оставляя следов. По этим следам на снегу каратели преследовали их, все время сужая кольцо, закрывая горные проходы, преграждая огнем леса и ущелья.

Оторванный от сел, от баз питания и боеприпасов, истощаемый постоянными боями с противником, во много раз превосходящим партизан и числом и вооружением, отряд имени Христо Ботева, отбиваясь, таял в этой неравной борьбе. Началась цинга. Люди опухали. Зубы шатались, вываливались из десен. Многие были ранены, другие, обессилив, не могли идти, и их приходилось нести или тащить на салазках. Тех, кто отставал, отбивался, кто пытался отсидеться в лесах, местные фашисты вылавливали и казнили страшной смертью. Людей, заживо прибитых к деревянным щитам, носили и возили по горным деревням, для устрашения выставляли на базарах, у церквей и в других местах скопления народа. Головы казненных неделями торчали на шестах. Девушек-партизанок, которых фашистам удавалось захватить, живыми сажали на колья.

Но, тая, отряд все-таки шел вперед. Партизаны мечтали пробиться через границу и соединиться с народно-освободительной армией Югославии.

Это был переход, в который трудно поверить. К концу пути в отряде начался голодный тиф. Больные, в бреду, с воспали-

ными небритыми лицами, с дико сверкавшими из глубины глазных впадин зрачками, шли, пошатываясь, поддерживаемые под руки товарищами, которые несли их оружие. Но стоило прогреметь выстрелу или прозвучать словам командира, и эти люди, минуто тому назад бредившие о еде, о семьях, о лете, приходили в себя, разбирали оружие, отражали вражескую вылазку.

И они совершили невозможное. Усталые, почти уже безоружные, они пробились до самых Македонских гор. Граница Югославии была уже видна. Горелкин собрал все боевые единицы отряда, сделал им смотр, сказал речь, смысл которой сводился к старому лозунгу борющихся коммунистов: лучше умереть сражаясь, чем жить на коленях, расставил силы, выставив коммунистов на острия атакующих клиньев, отведя самые опасные места своим друзьям.

Поутру, под прикрытием тумана, отряд совершил отчаянный рывок. Он обрушился с гор в долину, лобовой атакой пробил кольцо окружения, и когда солнце осветило свинцово-серые вершины гор, он был уже за границей Болгарии — в Югославской Македонии. Самым удивительным в этом прорыве было то, что сотня вконец измотанных, еле передвигающихся, распухших от голода, истощенных тифом и горной хворью людей вынесла с собой всех своих раненых, все оружие.

Здесь, на первых километрах югославской земли, остатки отряда и все четверо русских солдат чуть было не погибли.

На ночлеге отряд был окружен итальянскими войсками, имевшими здесь сильный гарнизон. Налет был внезапным. Смертельно усталые, больные люди не успели даже проснуться. Отряд был разоружен, интернирован, загнан в импровизированную тюрьму, помещавшуюся в огромном здании ограбленного элеватора.

В главном помещении зернохранилища, куда входили целые поезда, было тесно. Здесь ожидали своей участи крестьяне — македонцы, сербы, хорваты, заподозренные в партизанской деятельности, в помощи Югославской народной армии.

Несколько отдохнув и оправившись в этой не очень строгой итальянской тюрьме, друзья стали подумывать об организации побега. Василь Копыто, опять приняв на себя функции «наркоминдела», исподволь попробовал связаться с арестантами из местных жителей. Сербы особенно располагали его к себе своей славянской внешностью, своим языком, так походившим на русский. Он решил, что именно с ними легче будет договориться. Но не тут-то было. Крестьяне охотно смеялись его шуткам,



делились с ним табаком и даже разок угостили его крепкой водкой, плетеная бутылка которой была кем-то умело пронесена сквозь все обыски, но как только он, зондируя почву, заводил беседу о югославских партизанах, принимался рассказывать о своих злоключениях в Болгарии, люди точно на замок замыкались и засов задвигали: ничего не знаем — и всё. Не знали они о партизанах, не знали даже, почему схвачены и брошены в тюрьму «итальянами».

Тогда друзья вместе с болгарскими товарищами решили готовить побег сами. План опять предложил неиссякаемый на выдумки Копыто. Ночью он схватился за живот и, оглашая огромное помещение неистовыми криками, стал кататься по полу.

Часовой, не понимая, в чем дело, вошел в сарай с фонарем. Василь катался и орал. Тело его подергивалось. Он кричал так исступленно, так естественно, что даже друзьям его становилось страшно. Уж не стряслось ли с ним действительно чего-нибудь, не нужна ли помощь?..

Стражник пригласил для совета второго наружного караульного. Некоторое время оба они, держа винтовки наготове, стояли в дверях, вглядываясь в полутьму, откуда неслись вопли. Потом, позабыв осторожность, стали протискиваться сквозь толпу арестованных к месту происшествия. Тут их и оглушили ударами булыжников. Караульные упали не пикнув.

Василь Копыто сейчас же перерядился в итальянскую форму, в которой выглядел мальчишкой, выросшим из своей одежды. Но это его не смутило. Он снял с пояса одного из стражников ключи, вышел наружу и открыл оттуда остальные двери элеватора. Привлеченные шумом часовые внешней охраны вошли во двор уже поздно, когда толпа вырвалась из тюрьмы.

Смелый поступок друзей послужил им хорошей рекомендацией. Неразговорчивые крестьяне, от которых «наркоминдел» Копыто не мог добиться ни слова, оказались войниками из Народной армии. Они увели русских и их болгарских товарищей в горы Македонии. Оттуда по козьим тропам, через ущелья, протоки, скалы, через леса, через снега и льды, они повели их в Боснию, бывшую в те дни одним из центров партизанской борьбы. Здесь тоже никто не задерживал четверых советских солдат. Партизанский командир, к которому их доставили, обещал даже снарядить их в дорогу. Но опять оказавшись на месте боев, четверо советских парней не смогли остаться в стороне. Они вошли в один из отрядов и принесли в него свой уже немалый опыт, свое воинское умение.

И снова прервался их путь на родину. Снова начали они фронтовую жизнь на чужой земле, под чужим небом, в чужих горах.

Около года сражались друзья в одном из многочисленных уже в те дни партизанских отрядов. Василь Копыто, забойщик по профессии, хорошо знавший подрывное дело, прослыл в своем отряде хорошим минером. Никто не умел так ловко, как он, заложить фугас на железнодорожном полотне или, пробравшись под носом у часовых к реке, взорвать мост. Босняки звали его на свой лад — Базиль. Русский богатырь пользовался всеобщей любовью, девушки заглядывались на него.

Второй из беглецов, Семен Агафонов, бывший монтер, организовал передвижную механическую мастерскую для ремонта трофейного оружия. Когда отряду приходилось отступать и партизанский район передвигался, эту мастерскую, все ее машины в разобранном виде, весь ее инвентарь, запасные части, инструмент, материалы партизаны увозили с собой на машинах, а иногда навьючивали на осликов и даже несли на собственных плечах.

Константин Горелкин, служивший до войны в Красной Армии на срочной службе, стал заместителем командира отряда по строевой части. В дни затишья он учил македонских пастухов и сербских пахарей военному делу, сложному искусству боев. А московский учитель Ткаченко на горных привалах, в промежутках между боями, читал лекции по истории ВКП(б). Измотанные непрерывными переходами и войной люди отдавали этим лекциям короткие и дорогие минуты отдыха. В слушателях недостатка не было.

С каждым новым боем заслуживали они у своих новых друзей все большее уважение. В одной из яростных схваток с частями, пытавшимися окружить партизан, погиб Семен Агафонов. Обычно в боевой день он оставлял свою мастерскую и становился пулеметчиком. В этом бою он вместе со своим вторым номером — сербом Блажо — укрепился на перевале и должен был прикрыть выход отряда из кольца в долину. Они хорошо выполнили эту задачу и успели бы вместе уйти. Но, отступая, партизаны уносили с собой раненых. Это задерживало выход колонны. Пулеметчикам приходилось своим огнем прижимать врага к земле, не давая четникам прорваться через перевал. Они стреляли до тех пор, пока неприятельские лазутчики, зайдя сзади, не навалились на них. Тогда гранатой пулеметчики взрывали себя, пулемет и насевших на них врагов. Уже потом крестьяне подобрали их останки.

Рязанский парень был похоронен рядом с сербом из Воеводины на вершине серой боснянской горы. Над партизанской могилой на скале вырос большой каменный холм. В боснянских селах чужое имя «Семен» было записано во многие семейные поминальники.

Но как ни полна была напряженной борьбой жизнь троих оставшихся в живых русских солдат, их все время не покидала мысль пробиться к своим и вернуться в Красную Армию, от которой отделяли их тогда четыре страны и больше двух тысяч километров. Правда, расстояние это в те дни начало уже сокращаться. Красная Армия перешла в наступление и двигалась им навстречу.

В декабре, получив разрешение партизанского штаба, трое русских двинулись в длинный путь. Расставаясь с Югославией, они дали друг другу торжественное слово идти только вперед, не ввязываться в борьбу других народов, не обращать ни на что внимания. Красная Армия наступала, и каждый из них втайне опасался, что борьба закончится без их участия.

Без особых приключений они миновали северо-западную часть Югославии, пересекли Австрию, прошли краешек Венгрии и тут, недалеко от чехословацкой границы, переходя ночью вброд речку, наткнулись на мадьярский патруль. В завязавшейся перестрелке Василь Копыто был ранен в ногу. Горелкин унес его на плечах в лес. Около месяца они жили в чаще, питаясь ягодами, рыбой, которую ловили в ручье, фруктами, что по ночам собирали на деревьях, обрамлявших дороги, да недозревшими кукурузными початками, заменявшими им хлеб.

Когда рана у Василя зажила, они перешли чехословацкую границу.

Снова очутились они в славянской стране, где речь их легко понимали, где не только магические и ставшие интернациональными слова «Красная Армия», но и само их советское гражданство служили им надежным пропуском и отворяли для них даже самые черствые и скупые сердца. Они быстро пересекли бы эту страну, если бы снова одно непредвиденное обстоятельство не задержало их в пути.

Горная деревушка, в которой они заночевали, не выполнила контингентов, наложенных на нее в те дни марионеточным словацким правительством Тиссо. Рекруты не явились на мобилизационные пункты. Словаки не хотели воевать за немцев. На грузовиках приехали в деревню каратели — жандармы из немецких колонистов. Они вламывались в крестьянские домики, хватали без разбора мужчин, сгоняли в сарай. В то время,

в связи с наступлением Красной Армии, фашистские куклы нервничали в Братиславе. Они хотели изобразить правительство твердой руки. Поэтому на площади перед костелом была произведена экзекуция: арестованных публично наказали палками.

Словацкие крестьяне, как и все горцы, — народ гордый, самолюбивый и горячий. Они взялись за ружья. И тут пригодился им боевой опыт троих русских, ночевавших в одном из домиков и случайно оказавшихся на месте схватки. Друзья нарушили-таки свое слово, ввязались в драку, помогли крестьянам атаковать жандармов. Отряд карателей был изгнан из деревни. Несколько жандармов были убиты, и трупы их крестьяне побросали со скалы в горный поток. Опасаясь ответных репрессий, половина деревни подалась в горы. Но ведь нельзя огромной массе людей отсиживаться в лесу в бездействии, ожидая облав и мести. И трое русских, считая себя не вправе бросить на произвол судьбы этих славных, храбрых и совершенно неопытных в партизанских делах словацких мужиков, создали партизанский отряд. Это был один из многих партизанских отрядов, действовавших в те дни по лесной и горной Чехословакии.

И снова начали друзья борьбу на чужой земле, против того же врага, с которым за тысячи километров от них сражалась их армия. Как снежный ком, сорвавшийся с вершины горы в дни оттепели, падая, наворачтывает на себя пласты талого снега и, все увеличиваясь, превращается в лавину, так рос и их отряд, с боем двигаясь в горных районах страны. Много людей, бежавших с принудительных работ, из концентрационных лагерей, из плена, скиталось тогда по Европе. Лучших из них Горелкин брал с собой, и понемногу отряд, избравший его командиром, становился интернациональным. Кроме чехов и словаков, были в нем уже французы, бельгийцы, сербы. К нему приставали мадьярские и румынские дезертиры, не желавшие сражаться за фашизм. Был в нем даже негр — Сид Браун, огромный добродушный детина, ведавший отрядным довольствием. Это был бортрадист, спасшийся на парашюте с горевшего американского бомбардировщика.

Константин Горелкин ввел в отряде суровую дисциплину, создал суд партизанской чести, строго каравший ее нарушителей. Собственной рукой в присутствии всех своих людей он расстрелял нескольких примазавшихся к отряду охотников до легкой жизни и чужого добра. В свободное от войны время партизаны обучались стрельбе, строю, рытью окопов, искусству

маскировки. Даже политраба вела в отряде, причем слова Ткаченко, говорившего по-русски и по-немецки, доходили до его разноязыких слушателей иногда через двух, а то и трех переводчиков.

Вскоре добрая слава об этом отряде укрепилась в Рудных горах, где немцы пытались организовать тогда добычу железа и меди. Назывался он: «Отряд имени Красной Армии». Он нападал на немецкие эшелоны, устраивал взрывы на шахтах, дезорганизовывал работу рудников.

Летом 1944 года погиб чехословацкий партизан и донбасский шахтер, солдат Красной Армии Василь Копыто.

Друзья партизан, которых они заимели на рудниках, донесли штабу, что немцы везут сюда новое оборудование — целый завод, демонтированный ими где-то в Бельгии. Это были дни, когда фашизм всячески старался повысить выплавку стали. Копыто сам решил руководить взрывом эшелона. Он выбрал место в горах, на повороте железнодорожного полотна — там, где оно шло над пропастью. С двумя бельгийцами, кровно заинтересованными в этой диверсии, вооружившись сильными фугасными минами, которые изготавливали для них чешские рудокопы-коммунисты, он подобрался к повороту дороги. Но путь в этот день сильно охранялся. Взад и вперед курсировали бронированные дрезины. На месте, намеченном для взрыва, ходил часовой. Диверсия могла сорваться. Тогда Копыто, оставив бельгийцев на той стороне ущелья, один перебрался через него с рюкзаком фугасов за спиной и вскарабкался по почти отвесной скале к самой линии.

Все произошло на глазах партизан, сидевших в кустах по ту сторону ущелья.

Часовой, как на грех, ходил в нескольких шагах. Василию никак не удавалось улучшить минуту, чтобы незаметно заложить под рельсы свой фугас. А поезд уже гудел, спускаясь с откоса. Гулко постукивали рельсы. В ущелье громко раздавались тревожные свистки паровоза, его тяжелое отфыркивание и скрежет колесных реборд о рельсы. И вот острая грудь локомотива уже показалась из-за поворота.

Что думал Копыто в эти последние секунды своей жизни, об этом можно только догадываться. На глазах часового он перескочил каменный гребень откоса и рванулся вперед. Партизаны-бельгийцы, наблюдавшие за ним, не могли различить, что он сделал. Они видели только, как ринулась навстречу паровику человеческая фигура. Потом тяжелый грохот встряхнул горы. И в следующее мгновение паровоз и вагоны, страшно

скрежеща о скалы, медленно перевертываясь в воздухе, летели в пропасть.

...Константин Горелкин и Владимир Ткаченко продолжали воевать. Их отряд временами насчитывал уже несколько сот человек, и когда по горам распространилась изустная весть о словацком восстании и партизанская рация приняла радио Баньской Быстрицы, призывавшей народ к оружию, «Отряд имени Красной Армии» проделал большой и трудный марш, добрался до района восстания и, атаковав с ходу, отнял у немцев важную железнодорожную станцию...

— Стало быть, теперь мы тут неподалеку воюем. Вот и все. А до родины так не дошли. Опять втесались в борьбу на чужой земле, не сдержали слова,— вздохнул Горелкин и стал прихлебывать из бокала прозрачное горькое пиво.

Мне вдруг вспомнилось: партизанский полк Горелко, знаменитого командира, о котором мне тут не раз говорили,— какой-то полуполегендарный интернациональный отряд, пришедший неведомо откуда на помощь повстанцам.

— Позвольте, так Горелко...

— Это я,— просто сказал он, усмехаясь.— Это еще там, в Рудных горах, меня так окрестили.— Он опять вздохнул.— Так все до дому и не дойду. Сегодня вот виделся с подполковником,— он назвал фамилию советского офицера связи при партизанском велительстве,— просил его разрешить идти на соединение со своими. Не приказывает; говорит, здесь нужен. Это верно, народ здесь славный — храбрецы, жизнь хоть сейчас готовые отдать за эти свои горы. Только вот воевать еще не горазды.— Он допил пиво и мечтательно улыбнулся чему-то своему, далекому от его нынешних шумных дел.— Так вы, стало быть, тоже калининский, тверской козел, значит?

И он стал расспрашивать о жизни родины, об армии, о нашем городе, о Волге, в которой мы оба в детстве лавливали пескарей на перекатах, о Тверце, на чистых пляжах которой загорали когда-то по праздникам.

Беседа затянулась за полночь. Мы увлеклись воспоминаниями и не заметили, что кафе уже опустело, что кельнер, убрав остальные столики, прислонил к ним спинки стульев, вежливо позевывал, стоя в сторонке у стены.

— Так, стало быть, этот казаковский-то дворец, где облизполком был, они сожгли? Вот гады! Какой дворец! И уж восстанавливаем? Да ну? Молодцы земляки! Здорово. А лепка как же? Я там на пленумах горсовета бывал, все любовался лепкой. И лепку восстанавливают? По рисункам? А театр? Неужели со-

всем ничего не осталось? Вот жаль... А мы еще все, помню, субботами на постройку театра кирпичи таскали. Ну, погоди, мы им этот наш театр вспомним!

Чуть захмелев от пива, он раскачивался и стучал по столу кулаком.

А время шло. Кельнер, должно быть устав стоять, уже сел в кресло и задремал, позабыв все правила ресторанной вежливости. Я указал на него собеседнику и хотел было подниматься.

— А мост через Волгу? Неужели и он взорван? Какой был мост— кружево! И его уже восстановили? В первый же год? Вот здорово, ну и работают! Должен я вам сказать, походил я по миру, поглядел, где как люди живут, и скажу вам: нигде так работать не умеют, как у нас. Нет, серьезно.

Он улыбнулся. Морщины разгладились на его усталом волевом лице, крепко выдубленном чужими ветрами. И снова начал он походить на того круглоликого ясноглазого парня, что глядел с фотографии на партийном билете.

— А откуда у вас наша новая форма, погоны?

— Это тут сшили. В ней воевать легче. Лучше слушаются, и душе покойней,— вроде в Красной Армии служишь... Что ж, я право на то имею. Звание-то ведь пожизненно дается.

— А почему вы, командир такого полка, носите сержантские погоны?

— Что правительство дало, то и ношу. А разве плохо? Красной Армии старший сержант Константин Горелкин. Неплохо, а?

1944 г.

**Н**а Карпатах осенью бывает такая погода: ярко светит солнце, прохладный воздух столь прозрачен, что с какой-нибудь вершины можно видеть окрестность километров на тридцать в окружности, и столь чист, что, кажется, протяни руку — и дотронешься до соседней горы, одетой в богатую лесную шубу, огненно-красную у подножия, сверкающую золотом посредине и кудрявую, изумрудно-зеленую на макушке. Паутинки, поблескивая, тихо плывут в прозрачной голубизне. Тянутся на юг косяки журавлей, забирающие над горами так высоко, что их не видно, и только еле доносится гортанное курлыканье, похожее на скрип длинной пароконной польской фуры. Все вокруг сверкает в прохладной тишине, источая запахи тучной осени. Потом вдруг резко рванет северо-западный ветер, в одно мгновение натащит откуда-то из глубины ущелий густого промозглого тумана, затянет небо холодными низкими облаками, напаялит на ближние и дальние горы грязно-серые, мглистые чехлы и пойдет гулять по холмам, по горным дорогам, сея мельчайшую водяную муку, таская с места на место целые вороха золотой и багряной листвы.

Вот такая внезапная непогода и накрыла нас на аэродроме маленького польского городка, откуда мы должны были лететь через горы, через фронт в Баньску Быстрицу, где в те дни словацкий народ поднял восстание против немецких оккупантов. Низкие тучи, сочащиеся влажной пылью, прочно прижали наш самолет к бетонной дорожке. Туман был так густ, что, стоя у

конца крыла, нельзя было разглядеть винтов машины. А повстанческое радио точно дразнило нас, то передавая сообщение штаба о развитии восстания и расширении повстанческих районов, то извещая, что единственный горный партизанский аэродром Три Дуба плотно закрыт непроглядной мглой.

Злые, раздраженные, ходили мы вокруг самолета, с крыльев которого звучно шлепали о бетон крупные капли.

Только начальник военного аэродрома инженер-майор Бубенцов, поджарый, быстрый человек с крупной лобастой головой, с морщинистым и живым лицом, по которому совершенно невозможно было угадать его возраст, казалось, был доволен погодой. Круглые серые глаза, глубоко сидевшие в темных глазницах, и тонкий с горбинкой нос придавали ему в профиль сходство с какой-то гордой хищной птицей. Человек же он был славный, общительный и деятельный. Рассыпая веселую скороговорку, он необидно посмеивался над нашим нетерпением и все шутил, что с богом он насчет погоды в заговоре и что договорился он с ним по крайней мере до завтра не отпускать гостей.

Бубенцов честно признался, что тут, в маленьком польском городке, давно ставшем глубоким тылом, он, москвич, вконец изголодался по разговору со свежими людьми и может однажды умереть от разрыва сердца или кровоизлияния в мозг, если в ближайшие дни не наговорится вдоволь с теми, кто прилетел, как он выражался, «оттуда». Это последнее слово он произносил так многозначительно, так тепло и с такой неподдельной тоской, что его становилось жалко.

Последняя сводка гласила, что облачный фронт затормозил свое продвижение и застрял над хребтом. Пришлось принять предложение жизнерадостного москвича.

На закате, когда сгустившийся туман покрыл все кругом, мы сели в машину «десяти лучших марок», как шутливо рекомендовал ее хозяин, чудом собранную из разномастной трофейной рухляди. Хрипло гукая допотопным рожком, она медленно поплыла во мгле по улицам совершенно невидимого городка. Потом на ощупь, держась за руки, как слепые, прошли мы через садик, где по разнообразному благоуханию угадывалось много цветов, добрались до крыльца особнячка и попали прямо к накрытому столу.

Бубенцов, желая вознаградить нас за наши злоключения, выложил на стол, должно быть, весь свой недельный паек. Сам же он ничего не ел и говорил почти один, едва давая нам вставить в беседу «да» или «нет», выразить согласие или удив-

ление. Впрочем, мы не очень сетовали. Ужин был по тем временам превосходный, а говорил инженер-майор так ярко и живо, и при этом его выразительное морщинистое лицо светилось таким умом, а крупные серые глаза источали такое дружелюбие, что слушать его было удовольствием.

— Вы знаете, товарищи,— говорил он, и при этом его маленькая, ловкая рука обгорелым концом спички чертила на бумажной салфетке профили и фасы каких-то шестерен, кронштейнов, передач,— вы знаете, стыдно признаться, но самой жгучей мечтой моего детства было побывать за границей. Да, да, да! Именно за границей. Мы жили на Калужской, у нас в доме тогда обитал знаменитый по тем временам московский футболист, центр нападения. Однажды он летал на матч в Турцию и привез оттуда какие-то фиолетовые брюки и соломенную шляпу со шнурком...

Когда он шел из дому в неправдоподобных этих брюках, мы, подростки, в почтительном отдалении следовали за ним. И не только потому, что он был кумиром восточной трибуны, а и потому, что он побывал за границей, играл в Стамбуле. А?.. Смешно, не правда ли?

Ну, а потом я был за это наказан. Став инженером, я по делам наркомата был вынужден часто бывать за рубежом, объездил всю индустриальную Европу, жил в Америке. И вы знаете, я узнал, что такое тоска по родине. Только не та сладенькая, кокетливая тоска, что воспевалась в старинных романах. Нет, нет, нет! Тоска серьезная, так сказать, действенная, и не то чтобы там по родным пейзажам, по родной речи, семье.

Это, конечно, само собой. Нет, по нашим порядкам, по нашему размаху, по нашим людям в большом смысле этого слова. Да, да, да! И, если хотите, даже по нашей атмосфере постоянной борьбы, по нашим трудностям, черт возьми, в борьбе с которыми закаляется человек, по нашему воздуху, в котором так вольно дышится. И по нашему человеку. Верьте мне, таких людей за границей пока еще нет.

Инженер-майор вскочил из-за стола и стал ходить вдоль комнаты, рубя воздух ладошкой, с необычайной ловкостью лавируя между мебелью.

— Вы извините, мешаю вам есть... Но вы меня поймете, я здесь дьявольски стесковался. Да, да, да! Ведь вот когда вы дома, все вам кажется буднично, обыденно, и события происходят обыкновенные, и газеты об обычном пишут. И даже, давайте признаемся, скучновато пишут. И люди вокруг все зна-

комые, даже иной раз падоевшие. Но вот вы за границей — и вы жадно хватаете какую-нибудь старую советскую газету или раскрываете какое-нибудь письмо и тщательно высасываете оттуда все, все. Все мелочишки смакуете, даже театральные объявления в газете или поклоны родственников в письме. Издали особенно чувствуешь, сколь грандиозны творящиеся там у нас дела. И тянет, неудержимо тянет скорее домой, за эти дела приняться! Да, да, да! С вами этого не бывало? Ну вот видите. А наш человек! Дома сравнить его не с кем. Но вот он попал за границу, и ни в какой толпе его не спрячешь, сразу его видно. Вам, наверное, надоело смотреть, как я бегаю, я сяду.

Он на минуту сел, плеснул в рот несколько ложек польской лапши, совершенно прозрачной, с изумрудными кудрями петрушки, плававшими в бульоне, но сейчас же бросил ложку и забегал вновь.

— Нашего человека как с заграничной толпой ни мешай, он всегда выделится. Да, да, да! Ведь нельзя, как ни взбалтывай, смешать, скажем, воду и масло. Уж на что эта война, как она все взболтала: государства, народы, политические партии. В ином месте в такую кашу все перемешалось, не поймешь, где что. Но не нас. Как нас ни мяли, ни гнули — стоим! Ох и крепкой же мы марки, легированной, нержавеющей, и такие закалки прошли, что ни на удар, ни на излом, ни на сжатие, ни на скручивание не поддаемся. Именно, именно. Вот здесь, в этих местах, случай был, поверить трудно. Когда мне рассказывали, я и сам сначала не верил. Людей-то этих главных действующих, так сказать, лиц, я уже не застал, но свидетели, очевидцы, их соратники — этих тут сколько угодно. Вещественными доказательствами просто завалили. Я тут от нечего делать проверял, собирал материалы — и выяснил: действительно все было, как рассказывают. Вы меня извините, одну минуточку...

Бубенцов вышел из комнаты. Мы слышали, как он постучал в дверь и у кого-то по-французски попросил разрешения привести своих друзей, советских офицеров, и как женский голос, грудной, очень звучный, тоже по-французски, но с явным польским акцентом ответил: «Да, да, пожалуйста, я буду рада».

— Вот, пойдемте, для начала я покажу вам портреты главных действующих лиц, — сказал Бубенцов, возвращаясь к нам, — пойдемте, не пожалеете.

Мы прошли через несколько комнат в гостиную. За квадратным низким столиком, под абажуром торшера, сидела вы-

сокая, худощавая, спортивного вида девушка в грубошерстной, защитного цвета тужурке и лыжных брюках, застегнутых у щиколотки. Она занималась совсем не девичьим делом: разбирала и чистила немецкий автомат, части которого были разложены перед ней на столе на газете. При нашем появлении она встала и очень приветливо поклонилась, пряча за спиной узкие руки с длинными пальцами, черными от ружейной смазки.

— Панна Марыся, дочь нашего хозяина. Студентка. А сейчас — польская партизанка. Собирается через фронт, за Вислу, — рекомендовал нам ее инженер-майор и по-французски попросил ее показать нам портреты ее друзей.

Глаза девушки приветливо заулыбались, и от этого худое и неправильное лицо ее стало хорошеньким. Все еще пряча руки за спиной, она подвела нас к стене, на которой в тяжелых рамах рядом висели старые семейные фотографии.

На одной из фотографий был изображен худой молодой человек с черными ширококрылыми бровями, с выпуклым и упрямым лбом, с тонкими, сильно поджатыми губами и резко очерченным подбородком. Лицо волевое, решительное, целеустремленное. С другой, висевшей рядом, в точно такой же старинной овальной раме, смотрел круглолицый, курносый, широкоскулый парень, стриженный под машинку, с лицом, осыпанным темными пятнами крупных веснушек, с хитрыми узкими глазками, источавшими озорное добродушие. К портретам этим снизу были приколоты ветки лавра — так в старых польских семьях отмечают изображения прославленных родичей.

Однако нетрудно было определить, что эти двое к польскому роду никакого отношения не имеют, что это наши, советские люди, и показалось нам, что соотечественникам, наверное, скучновато тут, в компании чинных длинноусых панов и пани с высокими прическами прошлого века.

Панна Марыся поправила под одним из портретов покривившуюся веточку и, показав на чернобрового, сказала тем взволнованно-смущенным и радостным тоном, каким девушки называют имя любимого:

— То есть пан Анджий Тяхин.

Потом, едва скрыв под длинными ресницами теплую усмешку в глазах, с какой вспоминают обычно о добром и веселом друге, показала на курносого:

— То есть коллега пана Анджия, пан Теодор Телеев,— и добавила: — Бардзо добжи панове, бардзо добжи рыцажи...

И, излучая большими черными глазами все ту же взволнованную радость, она спросила:

— Панове офицежи знайон тых панув?

Мы сказали, что, к сожалению, их не знаем, извинились и ушли, оставив странную девушку за ее недевечьим занятием.

А наш хозяин, весь сияя бесчисленными морщинками, которые складывались у него на лице всегда так, что подчеркивали каждое его выражение, особенно улыбку, заговорил:

— Ну, видели? Какой почет: рыцажи! И, вы знаете, заслуженный почет. Впрочем, тут целая история. Не заговорил я вас? Тогда вот ешьте фрукты, пейте вино, а я буду рассказывать. Ей-богу, не соскучитесь, да, да, да.

Он бросился в кресло, и по усталой позе, по опустившимся сразу плечам стало видно, что этому человеку неопределенного возраста уже немало лет и что жизнь он прожил нелегкую.

— ...Так вот, известно вам, что, так сказать по независящим от вас обстоятельствам, вы застряли в центре польского нефтедобывающего района? — Схватив со стола карандаш, бумагу, он снова принялся, по инженерской привычке своей, чертить на ней точными, скупыми штрихами фасы и профили насосов, нефтяных вышек, баков. — Не знаете? Поясню. Весь этот район Прикарпатья покрыт нефтяными вышками. Нет, нет, конечно, не Баку, не Грозный, даже не Сызрань... И техника тут, на наш взгляд, была музейная — желонками качали. Все ж таки, однако, кое-что из земли выжимали, и, по здешним масштабам, немало. Ну-с, а когда немцы в этот край пожаловали, они, конечно, первым делом за эту самую нефть лапой — хватъ. У них-то с нефтью вовсе швах, ну и захотелось им выжать из этих тщедушных скважин как можно больше. Они на них и надели.

Вас, конечно, никакими фашистскими зверствами не удивишь. Фашизм в действии повидали. А в Майданеке были? Ну вот видите. Однако этот уголок можно считать, так сказать, опытно-показательным участком гитлеровского «нового порядка». Да, да, да! Я бы сюда всемирные экскурсии устраивал. Честное слово! С просветительной целью. Смотрите, дескать, господа народы, что вас ожидало, если бы не спасла вас от этого «нового порядка» Красная Армия. Очень поучительная была бы экскурсия.

Ну-с возьмем для примера участок вот тут, у города. Промыслы не бог весть какие, а нагнали сюда немцы людей со всей Европы: и французы, и бельгийцы, и чехи, и датчане. И лихтенштейнцы даже, каких и на карте-то не всякий сразу сыщет. Эти все жили в лагерях. За проволокой. В проволоку электрический ток пущен. На работу — под конвоем, с работы — под

конвоем, шестнадцать рабочих часов. Пища — брюква, меню незатейливое, в чисто фашистском вкусе: брюква на первое, на второе и на третье. По пол-литра брюквенной бурды зараз. Спать в бараках, на нарах в три этажа, по два кубометра воздуха на брата. И телесные наказания. Да, да, да! И какие! Целая система.

Бубенцов полез под кровать, вынул оттуда гибкую трость с ручкой из пластмассы — стальной прут, залитый в резину.

— Увесистая штука. Звались гуммами. Каждый надсмотрщик был вооружен такой гуммой. Ею он подбадривал голодных, усталых, еле волочивших ноги людей, работавших возле вышек. Прошу повнимательнее рассмотреть рукоятку. Видите: «Эрих Бокверке. Франкфурт». Массовое производство, так сказать, фашистский ширпотреб. Трости эти все время гуляли по спинам и военнопленных и рабочих-поляков, которых тоже под конвоем водили с работы и на работу.

Но это еще что! Не знаю, как в других местах, но здесь была даже разработана шкала наказаний. Вот она, прошу взглянуть. Вы немецкий знаете? Так вот читайте подлинник, да, да, да... «Невыполнение норм вторичное — пять ударов, третичное — десять... Порча инструментов — пятнадцать... Ослушание начальнику — пятнадцать, вторичное ослушание — двадцать пять... Разговор с населением — двадцать...» Словом, стоило поляку, чеху, бельгийцу или там какому-нибудь лихтенштейнцу, рабочему или инженеру — это безразлично, нарушить одно из этих правил, и надсмотрщик аккуратно выписывал ему талончик, так сказать, наряд на сечение, и указывал в нем число ударов. Вернувшись с работы, человек сам — да, да, да, сам — должен был идти в лагерную контору, и дежурный, которому он вручал этот талончик, производил экзекуцию.

И человек, живой человек — самое гордое существо на свете, — который еще недавно мечтал о будущем, учился, увлекался литературой, искусством, любил, лежал вот на скамейке, и какой-нибудь кособокий инвалид, выбракованный всеми военными комиссиями, сек его. Чудо фашистской организации! А? Ну, а когда кто-нибудь поднимал протест или истощался на работах настолько, что не мог уже ходить, он попадал в «черный поезд», дважды в месяц курсировавший между этим городком и знаменитым Освенцимом. Там его сжигали в печах Биркенау — как ненужный промышленный отход, из которого ничего полезного нельзя уже было выжать для «великой Германии». Может, не верите? Спросите у моего квартирохозяина

пана Казимира. Он здешний инженер и при оккупантах по принуждению тоже работал инженером. Он сам дважды лежал на этой вот скамье и получил первый раз десять, а второй раз пятнадцать ударов за снисходительное отношение к рабочим и чуть было даже не угодил в биркенауский «камин», от которого его спасли вот те двое наших сограждан, портреты которых висят в гостиной в компании чопорных предков польской панны.

Короче говоря, всей этой системой фашисты стремились выбить из людей все человеческое: гордость, честь, солидарность, подавить в них сознание, уничтожить волю и превратить человека даже не в животное, нет, — лошадь, вон, защищаясь, может лягнуть, бык бодается, — а в живую дешевую машину, которая срабатывалась до полной амортизации, а потом отвозилась на свалку, то есть в Освенцим. И самое страшное было в том, что они уже кое-чего достигли. Да, да, да! Страх смерти заставлял людей молчать, покоряться, работать. В них постепенно притуплялось чувство протеста, слабела воля, сила сопротивления. Да, да, да! Не у всех, конечно, но у многих, очень у многих.

Так было тут, в этом заповеднике «нового порядка», до самой весны прошлого года, пока сюда разными путями, но совершенно случайно, не попали два человека, эти — как их тут до сих пор с трогательным упорством называют на местный манер — пан Анджий Тюхин и пан Теодор Телеев, а проще говоря, штурман сбитого советского бомбардировщика дальнего действия Андрей Пантюхин и рабочий-нефтяник из Грозного Федор Пантелеев, привезенный сюда в качестве военнопленного. Вижу, вы улыбаетесь. Действительно, смешно, что этих ребят до сих пор зовут на польский манер, но в этом, мне кажется, особая форма признания их заслуг. Однако об этом потом. Послушайте раньше, что здесь они натворили.

Андрей Пантюхин появился тут первым. Отыскала его эта самая панна Марыся, с которой вы познакомились. Это вышло как раз после того, как отец ее, пан Казимир, пожилой, почтенный человек, вторично попал на скамью для порки да и слег после этого при смерти. И вот Марыся под вечер пошла в деревню Кросненку — это тут недалеко, километров семь севернее города, уже в горах, — пошла за врачом. Врач этот, старый друг их дома, чтобы избавиться от мобилизации, работал у брата на хуторе за батрака. И вот идет эта самая панночка и там, где дорога начинает забирать в горы, вдруг слышит словно бы стон. Да, да, да, стон.

Что такое? Девушка не робкого десятка. Свернула с дороги, видит — на дереве погашенный парашют белест, а под деревом человеческий силуэт. Человек стонет, но не шевелится. Должно быть, без сознания. Пригляделась: комбинезон, шлем — значит, летчик. Наклонилась, приподняла его, повернула. Он пришел в себя — и за пистолет: «Назад, застрелю!» Ну, языки русский и польский похожи. Они друг друга поняли. Да, да, да. Она его осмотрела, видит — плохо дело: нога сломана и рука повреждена. Как быть? Нести в город? Она бы понесла, девушка храбрая, но нельзя — везде полно немцев, через день обыск. На хутор, к другу-врачу, тоже нельзя. В то время тут, в этих местах, какая-то немецкая дивизия, разбитая под Воронежем, переформировывалась. Все деревни забиты были. Ну, он сам ей мысль и подал: спрячьте меня тут в кустах меж скал,— дело, дескать, к лету, перележу, пока перелом не срастется.

Так и сделали. Сожгла панночка парашют, за врачом за своим сбегала, перевязали они его, перелом — в лубки. Все честь честью. И стали они ему по очереди — то она из города, то врач со своего хутора — еду носить. Ну, день живет наш летчик, два живет, неделю, а парень, видно, башковитый, острого ума, язык быстро освоил. Ну, и пока его кормят да перевязывают, разговоры ведет: «Как живете, что гитлеровцы?» Ну, ему и рассказывают про этот самый про «новый порядок», про гуммы, про дымы Биркенау, что пахнут человеческим мясом. Он и вскипел: «Да какого ж вы дьявола терпите?» Марыся ему: «А что сделаешь, если за послушание в биркенауский «камин» возят?» Он ей: «Лучше умереть сражаясь, чем так-то вот — превращаться в рабочий скот». Слово за слово, разошелся парень. «Иль в Польше, кричит, смелые люди перевелись?» Она ему: «Смелых-то сколько в Освенцим позабрали, лучших борцов, всех, кто в местном филиале партии рабочей состоял,— всех гестапо повыловило; дымы-то над Биркенау день и ночь стоят». А он ей: «Пока всех не сожгли, надо действовать. Не самим же в эти печи проклятые лезть». Словом, вогнал он панночку в слезы. Обиделась — ушла, не попрощалась даже.

А по дороге остыла, задумалась и пришла к мысли — прав этот русский. Стала в уме прикидывать, кто из смелых-то людей уцелел после разгрома подпольных организаций. Мало кого она в городе знала, однако вспомнила кое-кого из своих друзей по гимназии да из рабочих, что к отцу ходили. И решила попытаться что-то сделать. С тем потолковала, с другим потолко-

вала. Видит, действительно смелые люди есть. И какие! В бой хоть сейчас готовы. Только все спрашивают: а кто поведет? Ну, она недолго думая и брякнула им: подпольный партизанский центр. Чей центр? А она не растерялась — уж врать так врать, — партии рабочих, говорит, центр снова возродился. А в то время польские коммунисты действительно движение Сопротивления развертывали, только в этом-то городке их организация после разгрома еще не оправилась. Ну, люди панночке поверили, приободрились, понемногу действовать начали. Для начала немецкая контора на промыслах сгорела. С этого и пошло. Как только контора вспыхнула, люди сразу головы подняли... Да, да, да! Поняли: «Еще Польша не сгинела». Ну, и помаленьку стали распрямляться спины.

А Андрей Пантюхин Марысю просвещает: действуй так да этак. Подсказал, чтобы организацию мелкими ячейками создавала, чтоб люди из отдельных ячеек друг с другом не знали, а сносились через организаторов. И как действовать советы дает, и куда удары наносить. Я сказал вам — светлая голова! Быстро со слов Марыси освоился с обстановочкой, город изучил и в дела влез. В общем, целая подпольная организация образовалась. И работа идет: то, глядишь, в пути цистерна с нефтью или бензином вспыхнула, то на какой-нибудь высокодебетной вышке пожар, то поезд почему-то на занятый путь залетел. И главное — сам-то он лежит под скалой в норе, в лубках, двинуться не может, беспомощный, — а башка работает, и воля неукротимая. От него вся эта машина тайная вертится, как от мотора, а панна Марыся — вроде приводного ремня.

Ну, а люди здешние уж вовсе головы подняли. В бывшей гимназии в физическом кабинете мастерскую организовали, бомбы делают, бутылки с горючей жидкостью. У населения кое у кого оружишко было попрятано — собрали, своим боевикам роздали. Немцы стали уж серьезный ущерб нести. А главное — не поймут, откуда что берется.

Одно Пантюхину не удавалось: как он ни бился, не могли его люди связаться с военнопленными, с иностранными невольниками, что работали на промыслах. Да, да, да, это было самое трудное. Очень их охраняли. Да и напуганы были пленные теми же биркенаускими «каминами». Но тут произошло другое событие, — слушайте, какое. С очередной невольничьей партией из Силезии — был там пункт распределения вестарбейтер, вроде невольничьего рынка в Крайцбурге, — прибывает на промыслы военнопленный, тот самый грозненский бурильщик Федор Пантелеев. Пленных красноармейцев возить сюда было

запрещено, и Пантелеев попал сюда в виде исключения — как буровой мастер высокой квалификации.

Начал он с того, что объявил начальству: он будет своими методами бурить скважину в два раза быстрее, чем там прежде бурили, и потребовал подобрать ему бригаду из чехов: дескать, славяне, легче ему с ними объясняться. Да, да, да, так и заявил. И не только заявил, но и бурить принялся. Ну, вы, конечно, знаете, что наши люди среди военнопленных самыми непокорными слыли. А тут вдруг человек для немцев старается изо всех сил, бурит и действительно в короткий срок достигает нефтеносного пласта. Ну, пленные других наций на него косятся: как, мол, это понимать? Неужели и среди русских фашистские прихвостни оказались? А тут еще немцы сразу его отличили, отметили, перевели на легкий режим. Но вышка, построенная Федором Пантелеевым, через три дня загорелась, да так ловко сгорела, что и скважину запломбировала. Да, да, да! В общем, все начинай сначала.

Тут пленные, что посмекалистее, стали к русскому приглядываться. А он знай работает. И веселый такой, в лагере — точно дома. Смеется, песни поет, аккордеон где-то раздобыл, играет. Чехам своим тоже легкий режим выхлопотал. И начинают они вторую вышку. Дело идет споро, вот-вот до пласта доберутся. Немцы в восторге: не человек, а клад. Пленные затаились, ждут, что будет. И вдруг весть: осеннее половодье плотину почему-то как раз в тех местах прососало, всю долинку залило, все работы как языком слизнуло, и русский со своими чехами еле даже спасся. Перед немцами он опять герой: фуй, какое несчастье! Очень, должно быть, хитер был человек и как-то так умел все делать, что оккупанты, при всей их подозрительности и шпионской сети, никак его расшифровать не могли. Он для них деловой человек, мастер. Во все бараки ему пропуск выписан — людей в бригады подбирать. Да, да, да, сами и выдали пропуск, собственной рукой.

Вот тут-то наш Пантелеев по-настоящему и развернулся. Кое-кто из пленных уже сообразил, что он за птица, сами к нему потянулись, да и он, видать, глаз имел снайперский. Умел хорошего человека разглядеть, сомнительного прощупать, а провокатора расшифровать и обойти. И понемногу сколотил он крепкую группку. Да еще где! В бараках военнопленных, за проволочкой, через которую ток пропущен. И какую! В каждом бараке свой человек. Как уж там он с ними объяснялся, догадаться трудно. Говорят, знал только по-русски. А ведь листовки на всех языках писали — «листовки-передайки»: про-

чел — передай другому. И стал он со своими друзьями исподволь готовить восстание. Да, да, да, восстание, ни больше ни меньше!

Вы знаете, в химии есть вещества, малейшей крупинке которых достаточно попасть в бочку раствора, чтобы сейчас же началась бурнейшая реакция. Должно быть, этот советский парень и стал такой крупинкой. Рассказывают про него: веселый был человек, с виду эдакий бесшабашный, и спляшет, и споет, и позубоскалит; но при всем том был у него, видать, прямо государственный ум. Понял он, что восстание это без поляков, без опоры на население не удастся. И стал он польских рабочих прощупывать. Однако те тоже провокаторов боялись и на первое слово не шли. Да и как тут сговоришься, когда между ними проволока и часовые с ручными пулеметами на вышках стоят?

А пленных уже нетерпение одолевает. Подпольная-то организация — листовки, разговоры — надежды в них разбудила, ум, волю активизировала. Гордость человеческая проснулась. Да и жилось им очень уж лихо. Стал опасаться Федор Пантелеев, как бы они стихийно не восстали, на автоматы, на проволоку не бросились. И, опасаясь этого, решился он на крайний шаг: либо пан, либо пропал.

Вдруг заболевает он какой-то невероятной болезнью. Рассчитал так: немцы полагают, что он им человек нужный. В лагере больницы нет, всей медициной заправляет чуть ли не ветеринарный фельдшер. И обязательно, рассчитывал он, должны отвезти его в гражданскую польскую больницу. Да, да, да! Как рассчитал, так и вышло! Положили его в больницу, часового, правда, для охраны поставили. Но что часовой?

Потом спрашивали Пантелеева: откуда он узнал, что за проволокой есть организация Сопротивления, почему решил искать с ней связи? А он в ответ: «Поляки — народ гордый, вижу, как их тут попирают. Как ей тут не быть, организации?» Рассчитал он и так: узнав, что в больнице лежит русский военнопленный, организация эта обязательно должна попытаться через него с лагерем в связь войти. И опять вышло, точно в воду глядел. Нашлась в больнице врачиха, что к этой организации прикосновенна была. Она о русском пленном — своему десятскому, десятский — Марысе, Марыся — Андрею, Андрей — по цепи обратно: прощупать.

Ну, болезнь у Пантелеева затянулась. Походили, походили конспираторы друг вокруг друга, издали друг друга прощупали, поближе обнюхали, видят — одного поля ягода. Заговорили

откровенней, да, да, да, и сговорились совместно выступить пятнадцатого июля утром, когда пленных поведут из барачков в баню и они встретятся с колонной польских рабочих, идущих на работы.

Все оговорили до мелочей: и чтоб оружие оказалось под рукой, и чтоб телеграф с телефоном к тому сроку из строя вывести, и как вместе полицейскую казарму блокировать. Все. И, что самое главное,— при переговорах с обеих сторон строжайшая конспирация. Пантелеев выдает себя за связного от какого-то выдуманного чеха-коммуниста, Пантюхин вовсе от всех в стороне — его нет, подполье действует. Так связали они нити своих организаций, и ни тому, ни другому невдомек, что на далеких-то их концах они, два советских человека, стоят и всем делом заправляют.

Засим Пантелеев поправился и был отконвоирован в лагерь бурить скважины и готовить восстание. Пантюхин же, выхоженный друзьями-поляками, к тому времени уже вставал. Нога у него срослась, лубки сняли, руку, правда, носил на перевязи, но ходил уже без костыля, с палочкой. Хотел было он сначала, набравшись сил, к Красной Армии навстречу подаваться. Но, что там греха таить, у них с этой панной Марысей к тому времени любовь началась, хорошая любовь, родившаяся в совместной борьбе. Она тоже с ним решила идти: знала, что у нас возрождалось Войско Польское, и хотела, как она говорит, пробиваться «до того войска». И не ушли они вот почему: уж очень большое дело он тут завертел и чувствовал, что не имеет права бросать его, не завершив. Да, да, да! Ну как же, людей поднял, организацию сколотил — и все к чертям? Так он и остался в лесу, в шалашике под скалой, никем не знаемый, никем не видимый, и продолжал втихомолку, через панну Марысю, всем заправлять. А тут еще вот что случилось: старого пана Казимира, отца панны Марыси, и нескольких польских рабочих и инженеров за участие в организации Сопротивления арестовали. И грозили им уж биркенауские «камины». Люди были хорошие, авторитетные, и вся организация через «десятских» передавала требование попытаться их освободить. Пантюхин-то тоже стал опасаться, как бы подпольщики стихийно, без подготовки, не поднялись и всего дела не провалили.

И вот наступило это самое пятнадцатое июля. Ну просто точно по нитам они всё разыграли. Как строители туннеля, не видя друг друга, пробивались они навстречу один к другому сквозь скалы и рассчитали так точно, что забои их сошлись

тютелька в тютельку. Тут-то и сказалась сила человеческой организованности, самая могучая сила на земле.

Когда в назначенный срок колонны встретились, они так внезапно и дружно атаковали конвоиров, напав на них одни с булыжниками, завернутыми в белье, другие с гранатами, что, перебив двенадцать вооруженных конвоиров, сами имели только одного раненого — именно эту панну Марысю. Да и ее-то ранили потому, что, увидев среди конвойных фашиста, который порол ее отца, она забыла всякие инструкции, выдержку, ринулась на него. Словом, один — двенадцать! Да, да, да, такое соотношение... И сейчас же колонны объединились, бросились к дровяному складу, где спрятано было оружие, вооружились, блокировали контору, выпустили арестованных, зажгли полицейские общежития и пустые казармы, откуда солдаты бежали, не сумев вызвать по телефону помощь из соседних местечек, запалили нефтебаки, перегонный завод, а потом ушли в горы, унося боеприпасы и продовольствие.

Проведено все было так, что, когда из соседних гарнизонов приехали фашистские подкрепления, им и воевать было не с кем. Восставших след простыл. Ушли в горы. Карателям оставалось тушить горевшие склады да растаскивать взрывавшиеся на путях составы с боеприпасами.

Вот тут-то, в горах, впервые встретились и узнали друг друга Андрей Пантюхин и Федор Пантелеев. Как говорила мне панна Марыся, узнав, что они соотечественники, окрещенные на польский манер, что, соблюдая конспирацию, они морочили друг другу голову, оба долго хохотали, валяясь на траве лесной поляны. С тех пор крепко они подружились и больше года, до самого прихода Красной Армии, очень ловко оперировали вот тут, в горах, со своим интернациональным отрядом, в котором комсомолец Федор Пантелеев был командиром, а Андрей Пантюхин, коммунист, — за комиссара, или, как он себя скромно именовал на местный манер, начальника просвиты.

Хотите знать, чем все это кончилось, если, вообще говоря, это можно назвать концом? Слушайте.

Когда наши части подошли сюда, к предгорьям Карпат, и у Дуклянского перевала завязались многодневные, тяжелые бои, одна наша кавалерийская бригада, напоровшись на сильную вражескую засаду, попала в тяжелое положение. Спешились конники, бьются. И вдруг слышат: где-то в тылу у врагов стрельба. Генерал с недоумением смотрит на начальника штаба, начальник штаба — на генерала. Откуда такая помощь, не предусмотренная планом боя? А стрельба громче и громче. Потом



вдруг где-то там, за долиной, как рванет «ура»! Откуда? Стало быть, наши туда зашли. Ну, генерал артиллеристам: «Дать огоньку пожарче!», а своим бойцам: «По коням! В атаку!» С двух сторон нажали — и от немцев мокрое место. Кончился бой, и выходят из лесу вооруженные люди в штатском и к генералу по всем правилам: «Лейтенант Андрей Пантюхин», «Старшина Федор Пантелеев». Отдаем, дескать, себя в распоряжение командования Красной Армии вместе со всем нашим интернациональным отрядом в двести пятьдесят штыков, при двадцати пулеметах и десяти минометах трофейных систем...

Вот и все. Да, да, да — все, больше ничего интересного.

Инженер-майор вскочил со стула, налил себе бокал вина и поднял его:

— За человека, которого ни сломать, ни согнуть нельзя... За советского человека!

Он одним духом выпил большой бокал и заулыбался всеми своими морщинами, веселыми лучиками пробежавшими от круглых, немигающих, ястребиных глаз.

— Вопросы нет?

— Ну, а как же романтическая линия? Как у Андрея с панной Марысей кончилось?

— Знал, что об этом спросите. Тогда уж уточним: не кончилось, а продолжается. Да, да, да, именно продолжается. Тут, конечно, дело сложное. Люди они оказались уж очень разные. Разное воспитание, разные взгляды, разные мечты о жизни. Этот самый пресловутый пан Анджий Тюхин в этих краях прослыл героем из героев, достойным почета, славы и... покоя. Панна Марыся, во всяком случае, придерживалась такого мнения. Она хорошая, смелая девушка, многому научилась в подполье, но это-то в ней с детства воспитано. Ну, а Андрей наш — простой советский парень, ни в каких особых героях себя, понятно, не числит: воевал, дескать, как мог. Хоть, узнав о его злоключениях и подвигах, командование и предлагало ему отпуск, он ни о каком отдыхе и слышать не захотел. Как только со своим отрядом таким эффектным способом из окружения выбился, он сейчас же попросился на фронт, только уж не штурманом, а в десантную часть, поскольку он партизанские навыки приобрел.

Его туда и направили. Девушку он любит, но в этом был тверд.

Расстались они холодно, чуть ли не враждебно. Уж очень он непреклонный парень, никаких женских резонов даже для виду слушать не хотел. Ну, а Марыся сначала его не поняла,

не уложилось у нее в голове, как это человек, заслуживший покой, имеющий отпуск, может так вот легко от любимой девушки в бой стремиться. Обиделась, даже оскорбилась. Известно, гонор! И вы знаете, все же она его поняла. Ну да, да, да. Приходит однажды ко мне, — а я тут уж к ним, вот сюда, на постой определился: «Вот, говорит, пан инженер, хочу и я, говорит, как пан Анджий, сражаться, пока родина моя не свободна». И что вы думаете — поехала в Люблин, связалась со штабом Войска Польского, вызвалась лететь радистом к польским партизанам за Вислу. И вот теперь готовится, оружие изучает, коды, азбуку Морзе.

Инженер помолчал, глядя куда-то в окно, за которым из-за плотной серятины тумана даже ночи не было видно.

— Вот вам и вся история про двух советских воинов, Пантюхина и Пантелеева, которых в этих краях и по сей день уважительно величают: пан Тяхин и пан Телеев.

*1944 г.*

**В** конце апреля 1945 года командир мотомеханизированного корпуса, штурмовавшего тогда с юго-запада уже окруженный, наполовину занятый нашими войсками Берлин, прислал за мной в штаб армии своего шофера с машиной. Тот отыскал меня в оперативном отделе и доложил, что «сам» приказал доставить меня в левофланговое «хозяйство» корпуса, дальше других пробившееся в этом секторе к центру вражеской столицы. В маленьком подвижном парне с угловатым, скуластым личиком, на котором так и бегали быстрые любопытные глаза, было что-то такое, за что весь штаб, вопреки фронтовым обычаям, игнорируя ефрейторские лычки, звал его по-домашнему — Мишей. Миша прикатил на огромном восьмицилиндровом ландо ядовито-яичного цвета и явно трофейного происхождения. Впрочем, к роскошной своей машине он относился с подчеркнутым пренебрежением и, как о верном друге, погибшем в бою, вспоминал о старенькой «эмочке», сожженной недавно каким-то «мессером» на переправе через Нейссе.

— Вот то была машина, товарищ подполковник! — вздохнул он. — Помните, как я вас на ней по украинской грязюке у Корсуни-Шевченковской возил?! Три года по фронтовым дорогам без капиталки выходила! А эта, — он пренебрежительно пнул сапогом шину своего ландо, — простого бензину и то не жрет, подавай ей высокооктановый. Ее бы под Корсунь, на те дороги, — поглядел бы я на нее.

Спихватившись, Миша вытянулся, козырнул и спросил, нельзя ли по пути подбросить людей из их корпуса, приезжавших в армию получать ордена. Испросив разрешения, он исчез за домом и тотчас же вернулся с двумя военными. Не только многочисленные награды, до ослепительности надраенных зубным порошком, не только гвардейские знаки и столбики красных и желтых нашивок за ранения, украшавшие новенькие, еще пахнувшие интендантским складом гимнастерки, но и весь их облик, какая-то свободная, ненарочитая подтянутость движений изобличали в них ветеранов.

— Сержант Трифон Лукьянович! — ловко беря под козырек, неторопливо пробасил статный, худощавый, белокурый красавец с той рокочущей интонацией, какая бывает у коренных белорусов.

— Ефрейтор Николай Тихомолов, — рубанул, звучно щелкая каблуками, другой, и круглое, подчеркнутое в его речи «о» сразу же выдало волгаря.

Решив после нескольких бессонных ночей подремать в дороге, я устроился поудобней в уголке на заднем сиденье, ефрейтор Тихомолов разместился рядом, сержант уселся с шофером, и сильная машина, сразу же набрав скорость, мягко приседая, понеслась на север, убаюкивающе шурша шинами по асфальту.

За двумя шеренгами цветущих груш, обрамлявших дорогу, потекли однообразные, подстриженные немецкие пейзажи. Даже яркая весна не уничтожала их поразительного сходства с мазней старательного художника-ремесленника. Тягучее однообразие пейзажа вместе с напряженным шелестом шин и мягким покачиванием рессор навевало дрему. И стоило закрыть глаза, как густо напоенный теплом пробуждающейся земли воздух, стремительными волнами перекатывающийся через ветровое стекло, напоминал о других, привольных краях, о буйной и милой весне в родных полях и лесах, о золоте одуванчиков, щедро рассыпанном в молодой траве, о сверкающей зелени березовых рощ, о синеватых зубцах елового леса, о старом янтаре сосновых стволов, истекающих смолой среди молодой хвои, о необозримой зелени озимых и жирной, маслянистой черноте бесконечных колхозных пашен.

Сквозь сон слышал я, как Миша завел с ефрейтором-волгарем ленивый дорожный разговор. Потолковали о фронтовых новостях, повздыхали о женах, осудили бесцельное немецкое цеплянье за камни разрушенного Берлина, ругнули союзников, подивились обилию красных перин в немецких домах, заговорили о самолетах с реактивными двигателями, брошенных в по-

следние дни в бой немецким командованием, и решили, что дело это для Гитлера бесполезное — перед смертью не надышишься; чего упрямитесь: хенде хох — и баста.

— Эх, к сенокосу бы домой вернуться, — заговорил волгарь, напирая на «о». — Луга у нашего колхоза, я тебе скажу, Миша, и не оглядишь. Трава по пояс, ядреная, сочная, как огурец. Косу как следует отбить, да утром по росе — ж-ж-ж!.. ж-ж-ж!.. Как, сержант, думаешь: если с Берлином управимся, к сенокосу демобилизуют?

— Мне не к спеху, — неохотно прогудел Лукьянович, не принимавший участия в беседе.

— Ордена-то за что, сержант, получали? — спросил Миша, не любивший молчаливых спутников.

— Так, пустяки... — с явной неохотой ответил тот.

— Ничего себе «пустяки»! Боевое Красное Знамя кое за что не дадут. Ишь, и не в части, а в штабе армии вручали. Чем отличились?

— Спит подполковник-то? — спросил осторожно волгарь и, наклонившись к переднему сиденью, зашептал: — Нет, верно, землячок, мы с ним считаем, что не по заслугам нам такой большой орден отвалили. Вот гляди — это Красная Звезда. За что она у меня? За Сталинград. Этот вот орден Славы за что? За Днепр. Опять же вот этот орден второй степени за что? За Сандомирский плацдарм на Висле. Мы там на крохотном пятачке двое суток держались. Достоин я за это отличия? Достоин. Еще считаю, что поскупился бригадный. Он у нас насчет награды малость жиловат. А это, на-ко, такой орденище — и за что? За немецкого генерала...

— За генерала? Это как же?

По тону вопроса я понял, что Миша даже подскочил на сиденье.

Разговор становился интересным, сон рассеялся. Потребовалось усилие воли, чтобы не открыть глаза.

— А вот так: взяли мы, значит, с сержантом в плен одного их генерала, да не какого-нибудь завалящего, а большого — на наш счет, генерал-лейтенанта... Да не жми ты на газ, меня мутить начинает, еще чокнемся с кем. Берлин без нас брать будут... А насчет генерала этого слушай... Как бригада наша на Нейссе выскочила, слышал? Ну вот. На реке мы обосновались, плацдармик за рекой захватили, зацепились — и стоп, нет снарядов. А пехота еще не подошла. Сзади разбитые немецкие части где-то там по лесам болтаются, — как говорится, слоеный пирог. Ну, начбоепитания и вызывает нас с сержантом. Садит-

тесь, дружки, на мотоцикл, дуйте во второй эшелон — и чтоб разбиться, а снаряды к вечеру были. Ну, мы, конечно: «Есть!» Сели в мотоцикл и — р-р-р! Только пыль столбом. Едем лесом; он машину ведет, я в коляске у пулемета по сторонам гляжу. И вдруг почудилось нам: возле дороги что-то большое, вроде медведь, в кусты шарахнулось. Стоп машина. Я пулемет на кусты, сержант за автомат: «Кто там? Хенде хох, вылезай, стрелять будем!» И вдруг, гутен морген, лезут из кустов три фрица — двое офицеры, а один гражданский, весь такой помятый, седой, шерстью зарос. Ну, мы их обыскали, пистолетишки отобрали. Что ж нам, думаем, с вами делать? Свалились вы на нашу голову. У нас боевое задание первейшей важности, а тут — на... И лес, и кругом никого нет. Ладно. Вот он, сержант, и говорит: «Лучше б этих субчиков в плен не брать, да не положено, раз сами сдались». И говорит мне еще: «Тихомолов, веди их до первой воинской части, а я, говорит, буду следовать по пути маршрута». Так, сержант?

Тот не отозвался. Он сидел молчаливый, безучастный, весь поглощенный какой-то своей, невеселой должно быть, думой.

— Так мы и сделали. Поехал он по пути маршрута, а я пленных назад повел. Иду и думаю: «Не иначе, подлещы, из окружения выбирались. Офицеры. А ну, дернут они у меня в разные стороны, лови их по лесу. Как быть? За них ответить». Вот я и надумал: ремни с них снял да на штанах и подштанниках пуговицы им пообрезал. Расчет точный: руки у них теперь заняты, и бежать им в таком виде невозможно: с первого же шага запутаешься. Так вот, когда я пуговицы-то обрезать им стал, старичонка этот гражданский вдруг как осерчает, как залопочет что-то, и офицеры тоже всполошились. В него пальцем тычут: «Генерал, генерал», — говорят. А я им вежливенько, как полагается, отвечаю по-немецки: «Нихт, он ист цивиль, без знаков различия, — стало быть, держи штаны руками». А потом: «Комен зи, господа офицеры, дорога прямая...» И без всяких приключений довел я их до самой нашей бригады. Сдал коменданту, сказал ауфидерзейн и думать о них забыл: мало ли их сейчас по лесам шляется. Вечером и он вот, сержант, со снарядами прибыл. Все хорошо: боевое приказание выполнено. Вдруг — бац, посыльный из корпуса. Сам генерал, твой хозяин, к себе требует. «Спасибо, говорит, за службу. Знаете, кого вы поймали?» — «Никак нет, говорим, товарищ генерал, не знаем». — «Вы, говорит, поймали большого их начальника». Вот и все. Должно, здорово этот немецкий генерал одичал, по лесам-то шатаясь, рожа — что щетка платяная, а уж грязи! Под ру-

баху залезает пятерней — и скребет, и скребет... Довоевался, голубчик! И за такого — на вот, орден, да какой!

— Что положено по приказу, то и дали, — политично ответил Миша, заметив, что я проснулся; он все косился на своего соседа, но тот по-прежнему безучастно смотрел куда-то перед собой. Должно быть, Мишу так и подмывало разговорить молчаливика.

— А вы откуда, товарищ сержант, сами будете?

— Был минский.

— Это почему ж «был»? Семья-то где в данный момент проживает? Есть семья? Женаты?

— Был женат.

— А-а-а, — неопределенно протянул Миша. — А дети? Имеются?

— И дети были... — Сержант отвернулся, явно показывая, что не желает разговаривать.

Но не так-то было легко отвязаться от Миши. Помолчав, он зашел с другого конца:

— Сам-то городской аль из колхоза?

— Городской.

— А откуда рождением?

— Из Репичей, была такая деревня под Минском... Ведь все равно не знаешь, что без толку спрашивать?!

— А родители-то живы?

— Никого у меня нет, ни родных, ни домашнего адреса, понял?

— Понял, — вздохнул Миша.

Шоссе оборвалось у взорванного виадука. Дорога свернула в сторону, пошла в объезд полем и уперлась в длинную пробку. Миша попытался обойти ее стороной, но шустрая регулировщица остановила его мановением красного фляжка. Ни уверения Миши, что без нас Берлин взять невозможно, ни комплименты насчет ее румяных щек не сломили ее упорства: она пускала машины только в один ряд, по очереди с той и другой стороны.

— Ну что ж, будем загорать, раз такое дело, — сказал Миша и первым вылез на истоптанную траву.

Деловитый сержант, поправив пилотку, сейчас же отправился вперед помогать «расшивать» пробку. Как только он отошел, волгарь накиннулся на Мишу:

— Что ты его мучаешь, чего душу из него тянешь? Ведь верно — один он остался, весь его род фашист порешил. Знаешь, как он переживает?

И он рассказал о трагической судьбе его друга, с которым

вместе воевал в одной роте от самого Сталинграда. На переправе через Прут сержант был тяжело ранен. Его признали негодным к строю и отпустили на родину. Добрался до Минска, где до войны работал слесарем на радиозаводе. Своего завода он не нашел. На месте домика, где жили его жена и трое детей, увидел он огромную воронку, густо поросшую крапивой и лопухом. Соседи рассказали, что бомба похоронила его семью в момент, когда та укладывалась, готовясь к эвакуации.

Рассеянно посмотрев на уток, плескавшихся в мутной зеленой воде на дне воронки, на одичавший вишенник, на заросший бурьяном огород, ничего не сказав соседям, солдат повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Он вышел на витебский тракт и с попутной машиной доехал до поворота дороги, с которого открывался вид на родную деревню.

Машина ушла, оставляя в воздухе пыльный хвост, а он стоял на дороге, ничего не понимая, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Отсюда, от верстового камня, открывался когда-то вид на веселую деревеньку, россыпью изб раскинувшуюся по берегам маленькой тихой речки, утопавшую в пышной зелени ракут. Камень по-прежнему торчал у дороги, и луга зеленели, и речка поблескивала среди них, — а деревни не было.

Там, где глаз привык ее видеть, поднимались невысокие, заросшие бурьяном холмы; вместо кудрявых ветел, хранивших когда-то перед окнами прохладную тень, торчали обгорелые пни.

На берегу речки вилось несколько дымок. По заросшей тропинке солдат добрался до них. От оборванного старика, вылезшего из землянки, выдолбленной в речном берегу, узнал он, что немецкие каратели два года назад сожгли деревню. Всех оказавшихся на месте жителей — среди них его стариков и младшую сестру — расстреляли. И опять ничего не сказал солдат. Он взял на пожарище горсть опаленной земли, завернул в носовой платок и, шатаясь, ушел прочь. Дошел до станции, добрался до своей части, переформировывавшейся тогда в тылу, и умолил командира бригады пренебречь его демобилизацией и зачислить обратно в роту...

— ...Воевал здорово, будто все зажило у него вместе с раной. Только вот когда почталь с письмами приходил, норовил он от людей куда-нибудь уйти... Воевал лихо. Как где опасное дело, кто впереди? Сержант Лукьянович. А вот как война на исход пошла, задумываться начал, — закончил свой рассказ ефрейтор. И добавил для Миши: — Так что ты, друг ситный, не бреди ему рану-то.

Между тем настала наша очередь двигаться, мы сели в свое великолепное ландо, ярким пятном желтевшее в длинной очереди военных грузовиков. У выезда на шоссе к нам молча подсел сержант. Так вот отчего так хмуро его крупное худощавое лицо, вот почему он отворачивается, когда видит печальные вереницы штатских немцев, тянущиеся по обочинам, и какая-то злая жилка начинает дергать углы его век, когда встречаются длинные, медленно бредущие колонны военнопленных, устало сверкающих белками глаз из-под плотной зеленоватой маски пыли...

К Берлину движение на дорогах становилось гуще и наконец уплотнилось в несколько сплошных колонн, на разных скоростях двигавшихся в одном направлении. Чтобы вырваться из густого пыльного облака, висевшего над автострадой, Миша свернул на большак, с большака на проселок, стараясь найти путь посвободнее. Но все дороги были забиты. Машина наша обгоняла артиллерию, танки, самоходки, открытые грузовики с загорелой веселой пехотой, противовоздушные части с огромными зачехленными прожекторами и звукоуловителями, пыльные шеренги мотоциклистов и конницу, такую странную в этом потоке стали и рычащих моторов, и снова танки, и снова огромные пушки, влекаемые могучими тракторами.

Сбившиеся с ног регулировщики истекали потом на перекрестках. Поднятая колесами и гусеницами пыль плыла к небу такими густыми облаками, что солнце тонуло в них и стояло над Германией, как тусклый круг кроваво-багрового цвета. Бензиновая гарь пропитывала воздух, и уши начинали болеть от непрерывного рокота моторов.

Наконец у самого Берлина, где части останавливались и перегруппировывались, машине удалось вырваться из клубов пыли. Перемахнув по широкому виадуку бетонное кольцо Берлинерринг, она въехала в пригород. За чугунными литыми решетками, за зеленой стеной деревьев прятались особняки. Возле них во дворах стояли шеренги машин. Хлопотливо потрескивали движки походных раций, дымили походные кухни. Флаги с красными крестами свешивались с крылец самых роскошных вилл. Связисты тянули провода, обматывая их вокруг чугунных столбов трамвая. Где-то тихонько попискивала гармошка, такая неожиданная, милая в этом чужом мрачном городе. Девушка — военный почтальон — в лихо заломленной на кудрявой голове пилотке торжественно шла с полной сумкой по улицам этого богатого и потому, вероятно, пощаженного американскими бомбардировщиками пригорода.

Но с каждым перекрестком картина становилась мрачнее. Исчезла зелень. Появились черные, местами уже поросшие травой, местами еще дымящиеся развалины. У станции метро теснились санитарные автомобили. Две девушки в окровавленных халатах вынесли из подземелья носилки, на которых, закрыв глаза, лежал солдат в мундире вражеской армии. Девушки ступали осторожно, стараясь шагать в ногу. Сержант псириязненно покосился на них.

— Точно молоко расплескать бояться. А моя б воля, дал бы я туда, в это метро, гранату, другую — и никакой возни.

— Не положено, сержант: раненый — он раненый и есть, — сказал Миша и помахал рукой пригожей санитарке. — Эй, курноса, много их там?

— Их там таскать не перетаскать, вся станция ранеными забита, — ответил за нее ефрейтор Тихомолов. — Они их туда позаносили и бросили, ни пищи, ни медицинской помощи. Некоторые уже давно померли, а лежат. Воница! Это еще что, а в одном месте фашист в метро воду из реки пустил, затопить раненых хотел, чтоб они к нам не попали. Волки! Одно слово — волки!

На войне всегда лучше быть среди знакомых. Я решил, миновав корпус и бригаду, пробираться прямо в батальон, в котором служили мои случайные спутники.

Мы осторожно ехали меж бесформенных кирпичных холмов, по которым трудно было даже угадать бывшие очертания улицы. Из сохранившейся подворотни возник часовой и преградил дорогу. Дальше езды нет. Только пешком. Это уже позиции.

— Хозяйство все там же, где и вчера? — спросил сержант, обменявшись с часовым заветными словечками пароля и отзыва.

— Там же, дальше не пускает, уперся, огня много. Батальонного вчера вечером ранило, он...

— Пошли, — скомандовал сержант.

Мы прощаемся с Мишей, который, пятясь, уводит свое яичное ландо. Пробираясь от руины к руине, движемся меж каменных груд. Трудно даже представить, что это было когда-то улицей. Скорее всего это похоже на каменоломню, где добыча ведется открытым способом. Лишь какие-то случайные штрихи: синяя табличка с надписью «Эйзенштрассе», сверкающая зелеными изразцами печка, прилепившаяся к уцелевшему куску стены где-то на уровне третьего этажа, ржавая швейная машинка, о которую мы все трое по очереди спотыкаемся, да странное обилие железных кроватей, высовывающихся из кирпичной трухи то там, то здесь, — напоминают, что тут жили люди.

Звуки разрывов в теснинах руин становятся оглушительными, слышны пулеметная перестрелка и упрямые, как дробь отбойных молотков, автоматные очереди.

И вдруг штатские люди стоят у чудом сохранившейся стены дома. Небольшая очередь: какие-то старички, в старомодных куртках и мятых шляпах, худые, изможденные женщины с поджатыми губами, с грязными, бурыми лицами — и все с судочками, с мисочками, завернутыми в салфетки, — жмутся к закоптелой стене.

Сержант останавливается перед этой очередью, смотрит на нее тяжелым взором, от которого женщины и старики еще теснее жмутся к стене, потом резко поворачивается и исчезает в узком, темном проходе среди камней. Спускаемся в подземелье. Он идет впереди, освещая дорогу карманным фонариком. Мы движемся по подвалу, оплетенному змеями паровых и канализационных труб. Сзади слышится окающий шепот ефрейтора Тихомолова:

— Повар наш остатки ротного харча цивилильным немцам раздаст. Прикормил их, как воробьев, вот и являются эссен себе получать. Много их тут... Под развалинами, как кроты, живут. С детишками есть... Ну вот и дошли.

В маленькой каморке, служившей, должно быть, жилищем истопника, — КП наступающего батальона. Капитан — такой молодой, с такими детски ясными глазами, что его маленькие усики кажутся приклеенными, — поднявшись из роскошного вольтеровского кресла, устало и грустно сообщает, что командир вчера ранен, а он, начальник штаба, исполняет его обязанности. Но речь заходит о военных делах, и капитан сразу оживляется. Их батальон действительно глубже других в этом секторе прорвался к центру Берлина. Но на перекрестке этой проклятой Эйзенштрассе напоролся на эсэсовскую засаду и вот уже вторые сутки никак не может пробиться дальше. А артиллерии не дают, ее концентрируют для прорыва где-то южнее. Ему велено пока закрепиться и отбивать попытки противника прорваться из кольца на юг. Ведь только подумать: бездействуем в такое время! И хоть грудь капитана пестрит орденоскими ленточками и нашивками за ранения, в голосе у него чуть не слезы. Но вдруг в серых глазах его загораются озорные огоньки. Не сидеть же сложа руки, как сосед справа. Нет, черт возьми, он решил наступать без артиллерии. Вот только сгустятся сумерки, он покажет этим паршивым эсэсовцам! Он уже сосредоточил на флангах все свои пулеметы и минометы...

— Хотите глянуть на берлинскую передовую? Никаких

биноклей, все видно простым глазом. В этом доме мы, дальше один разваленный — ничейный, а в следующем, в тридцати метрах, немцы. — Капитан подкручивает вверх тонкие усики.

Мы выходим из каморки. Стены подвала гудят от близкой и далекой канонады, но своды его крепки. В конце подвала видна ярко освещенная солнцем позиция. Частые пулеметные гнезда, удобно выложенные из кирпича, фигуры автоматчиков, распластавшихся за камнями. Потолок подвала здесь обрушен, люди находятся как бы в широкой кирпичной траншее. В правом углу этой траншеи толпятся солдаты. Они к чему-то прислушиваются, и на их лицах застыло выражение тревоги. Среди них мои спутники выделяются праздничной формой и ослепительно сверкающими регалиями.

— Что за митинг? — спрашивает капитан, старающийся придать голосу командирскую суровость.

— Ребенок там, — поясняет кто-то, неопределенно махнув рукой за стену укреплений. — Чу!

— Ребенок? Не может быть. Откуда?

— Разрешите доложить, товарищ капитан! — вытягиваясь, шагает вперед ефрейтор Тихомолов. — Обстоятельства следующие: снаряд он туда тяжелый бросил, должно, угодил в подвал, а там женщина какая-то сидела. Женщина как вскрикнет... ранило ее или убило — стихла она, а маленький, слышите, надывается.

Сквозь гул и грохот уличных боев действительно доносился протяжный детский плач. Среди черных, дымящихся развалин, сотрясаемых взрывами и выстрелами, этот нежный, тонкий, захлебывающийся плач был самым страшным звуком, от которого мороз подирал по коже.

— Да, штука, — озадаченно отозвался капитан. — Надывается... А спасти нельзя?

— Трудно, товарищ капитан, — говорит Тихомолов. — Он тут каждый камень на прицеле держит. Ребята попробовали для пробы пилотку на прикладе чуть-чуть из окопа высунуть. В двух местах ее пропорол, и приклад — в щепки.

Плач несется из самой середины «ничейной» развалины — беспомощный, безутешный, захлебывающийся. Этот жалобный, сиротливый звук не может заглушить никакая канонада.

Когда плач стихает — на лицах солдат появляется выражение тоскливой безнадежности, когда возобновляется — все облегченно вздыхают.

— Эх, была не была! — говорит вдруг Тихомолов и, насунав на уши пилотку, идет к брустверу.

— Куда? У тебя у самого трое! — остановил его сержант Лукьянович.

Он вдруг сам метнулся к стене — ничего никому не сказав, перемахнул через бруствер и скрылся за ним. Тихомолов рванулся вперед и остановился с таким видом, словно кто-то ударил его по голове. На немецкой позиции всполошенно хлестнуло несколько автоматных очередей, послышалась торопливая скороговорка пулемета.

— По нему бьют, негодяи, — прошептал капитан, бледнея. — Связной, пулеметчикам — огонь по всем амбразурам!.. Какие сволочи!

Капитан сорвал фуражку и осторожно, бочком выглянул из-за камня:

— Ловко ползет, даже мне не видно. Ага, молодец, уже близко! Связной, пулеметчикам открыть ураганный!

Теперь вся позиция точно трясется в нервной дрожи пулеметных очередей. Пули цвикают и с острым визгом рикошетят среди развалин.

— Дополз! — торжествующе вскрикнула девушка-санитарструктор, прибежавшая на звук перестрелки.

Сержант добрался до центра развалин. Ему удалось, должно быть, спрыгнуть в невидимый отсюда ходок. Теперь он в безопасности. Все облегченно вздохнули. Пулеметы смолкли и с той и с другой стороны. Настала страшная тишина, нарушаемая лишь звуками далекой канонады, и в тишине этой отчетливо слышалось, как детский плач начал постепенно переходить на нервные всхлипы и как успокаивающе бубнил мужской голос.

— Живы, — тяжело дыша, точно после быстрого бега, сказал Тихомолов. — До темноты пересидит там, выручим.

Весь батальон скопился у выхода из подвала. Подходили отдохавшие, застегивая на ходу гимнастерки, проверяя затворы автоматов, узнавали, в чем дело, и вытягивали шеи, прислушиваясь к тихим звукам, несшимся с «ничейной» полосы. Все молчали, и только сестра заворуженно шептала:

— Только б уцелел, только б уцелел!

Вдруг снова рванули немецкие пулеметы.

— Ребята, вылез, — крикнул откуда-то сверху наблюдатель, — несет!.. Эй, да ложись ты, ложись, чертушка!

— Лег. Неловко ему теперь ползти, видно его!

— Кабы один, а то с ребенком. Ох, подшибут...

— Связной, пулеметчикам — огонь по амбразурам, самый плотный.



Но уже и без этой команды все вновь затряслось, заклокотало от бешеной пулеметной стрельбы. Пространство над развалиной было вкривь и вкось пропорото, рассечено, прошито пулевыми трассами. Казалось просто невероятным, что в этой кипевшей свистами атмосфере может сохраниться что-то живое. Но сержант был жив. Он медленно полз, и наблюдатели сообщали:

— За глыбу засел, ребенка качает... Опять пошел, не терпится ему.

Опытным глазом бывалого воина сержант, должно быть, заранее рассчитал, что под прикрытием невысокой пологой кирпичной груды, возвышавшейся среди развалин, где-то у самой земли должна быть мертвая зона, недоступная вражеским пулеметам. Ползя туда, он удачно использовал ее. Но для этого он должен был, пластаясь по самой земле, двигаться, работая локтями, извиваясь, как гусеница. Теперь он был не один, живая ноша не давала ему прижаться к земле. Он полз боком, левой рукой прижимая к груди ребенка. Двигался он очень медленно. Пули, ударяясь о кирпичи и штукатурку, высекали красные и белые облачка у него над самой головой.

За ним следили с таким напряжением, что сквозь шум перестрелки каждый слышал, как бьется сердце. Он был уже около самого бруствера, и люди уже готовы были принять его и его ношу, как вдруг что-то случилось: сержант, точно натолкнувшись на невидимую преграду, замер.

— Убили! — вскрикнула девушка-санинструктор и, бросившись к стене, стала неумело карабкаться на нее, цепляясь ногтями за камни.

— Не высовываться! — рявкнул капитан. — Связной, пулеметчикам усилить огонь по амбразурам, командирам рот готовиться к атаке!

Но неожиданно высокая фигура поднялась над кирпичным бруствером, и в следующее мгновение сержант тяжело съехал в подвал. Минуту он стоял, покачиваясь и хрипло дыша. Он был зеленовато-бледен, в горле у него булькало и kloкотало, казалось, он хочет и не может что-то сказать. У него на руках, прижимаясь головой к орденам и медалям, лежала белокурая худенькая девочка лет двух, с испуганными глазенками линиялой небесной голубизны. Черное жирное пятно медленно расплывалось по парадной гимнастерке сержанта.

— Ранен я... примите девочку, — чуть слышно произнес он наконец и, когда к ребенку протянулись солдатские руки, стал тихо оседать по стене.

А пулеметная дробь, достигнув наивысшего напряжения, сливалась в сплошной рев. Издали донесся хриплый голос:

— Первая рота, в атаку!

Где-то совсем рядом молодой голос пропел:

— Первый взвод, за мной!

Солдаты карабкались через бруствер, припадая к земле, бежали, ползли по руинам, иных пули уже пригвоздили к земле, иные залегли, но несколько ловких серых фигурок уже пластались у стены противоположного дома, возле немецких амбразур, и уже гремели взрывы гранат. От кислой пороховой гари саднило в горле.

— Пустите, пустите, и я... и я пойду... — раненый рвался из рук сестры, царапая бетон каблуками сапог и не находя опоры в ослабевших ногах. — Пустите, слышите, пустите! — жилистая загорелая рука его шарилась кругом по полу, ища, должно быть, автомат.

А рядом, за спиной девушки-санинструктора, стояла белокурая девочка с распухшим заплаканным личиком, сосала кем-то сунутый ей второпях пыльный кусок сахара и удивленными, непонимающими глазами смотрела на высокого человека с яркими, красивыми медалями, который почему-то вдруг разучился ходить и беспомощно, как совсем маленький, рвался из рук круглолицей тети в смешном белом платье.

*1945—1948 гг.*

*Старому другу,  
ветерану калининской сцены  
В. М. Брянскому.*

**К**лев прекратился, но летний вечер был так тих, так хорош, отблески заката так задумчиво багровели на потемневшей и точно бы загустевшей воде, а с соседнего луга так аппетитно потянуло терпкими запахами подсыхающего сена, что никому не хотелось уходить. Смотрели удочки и улеглись на посеревшей от росы траве. Рыба судорожно всплескивала то в том, то в другом ведерке. Ленивая волна тихо пошлепывала о днище полувытащенной на берег лодки, и только этот мелодичный звук перебивал надсадное верещание кузнечиков.

В такой вечер хорошо думается. Должно быть, поэтому разговор и шел между рыболовами на темы отвлеченные.

Спорили о храбрости.

Маленький нервный человек с жесткими, точно проволочными волосами цвета воронова крыла, подмастер с текстильной фабрики, у которого даже тут, на рыбалке, на выцветшей гимнастерке пестрели ленточки орденов, настолько, впрочем, засаленные, что цвет их трудно было уже различить, уверял, что храбрость — это от рождения, и все принимался рассказывать действительно необычайные боевые приключения какого-то своего приятеля-разведчика, о котором он повествовал с таким смаком, что собеседникам невольно думалось, не о нем ли самом и шла речь.

Другой рыболов, инженер с металлургического завода, человек грузный, малоподвижный, молчаливый, заявил, что думать так недиалектично, что храбрость — субстанция надстроечная и воспитывается она средой. В подтверждение он расска-

зал, как в дни войны понадобилось вдруг срочно произвести ремонт еще не вполне остывшего мартена, как ремонтники в страхе остановились у разверстого жерла, из которого несло обжигающим жаром, и как один коммунист, обмотавшись мокрым брезентом, полез в печь и, начав там работать, примером своим увлек остальных, даже того, кто вначале больше всего возражал против такого невероятного способа.

Третий собеседник, черный как жук, с белками глаз кофейного оттенка и резким ястребиным профилем, точно бы отлитым из темной бронзы, сказал, что все дело случая. Бывает, когда и смелый мужик «труса празднует», а когда и вовсе пустой человек храбрецом объявится. Похлопывая таловым прутом по голенищу сапога, он не без юмора вспомнил, как в позапрошлом году в их колхозе пожилая доярка, тетка сырая, рыхлая, боявшаяся лягушек и мышей, однажды, застав у телятника матерого волка, приняла его за собаку и так огрела подвернувшимся под руку ведром, что тот очумело вылетел из ворот и пустился наутек, разогнав по пути троих дюжих парней из плотничьей бригады...

— Ну, а вы что на сей счет скажете? — спросил инженер, обращаясь к четвертому рыболову, невысокому, крепко сбитому русоголовому человеку в кожаной летной куртке, в синих военных шароварах и болотных сапогах, что лежал, по-богатырски развалившись на спине, покусывая травинку, и, не вмешиваясь в беседу, следил, как в потемневшем небе одна за другой загораются колющие звезды.

— Кто-кто, а уж вы, товарищ полковник, толк в этом знаете, — поддержал ткацкий подмастер с орденскими ленточками на гимнастерке.

В голосе его вдруг зазвучала та дружеская официальность, с какой демобилизованные ветераны обращаются по старой памяти к офицерам.

— Верно, Андрей Ликсеич. Уж сколько рыбы с вами переловлено, сколько ухи вместе съели, и хоть бы раз вы что о себе рассказали! Эдакий выдающийся, можно сказать, человек, памятник вам живому где-то стоит, и ничегошеньки мы о вас не знаем.

Человек, которого называли полковником, сел, скомкал и отбросил травинку, которую мгновение назад так безмятежно жевал. Чувствовалось, что уже много раз слышал он такие просьбы, что они ему неприятны — то ли по свойству характера, то ли потому, что отвечать на них ему давно уже надоело.

— Вон, вон звезда красноватая. Марс. Говорят, там живые

существа есть и будто оттуда снаряд с атомным двигателем и пассажирами до нас долетал... В Сибири упал. Тунгусский метеорит... А ведь черт его знает, может быть! Во всяком случае, забавная гипотеза.

Он явно уводил разговор в сторону. Но не тут-то было. Никто и не взглянул на бархатное небо, где сверкала красноватая звезда, с которой летят атомные снаряды. Друзья по рыбалке сидели вокруг полковника, и все трое смотрели на него такими требовательными глазами, что отнекиваться стало уже просто неприлично. Полковник нахмурился, раза два прочесал пятерней русые, торчащие в разные стороны волосы и, вздохнув, задумчиво начал, не изменяя и теперь своей обычной манеры говорить короткими фразами:

— Ладно. Теоретизировать не стану... Так, случай один расскажу. Любопытный. Мне и сейчас вот кажется: ничего более запоминающегося не видел за всю войну.

В воде, которая теперь совсем потемнела и над которой уже потянулись первые волокна тумана, всплеснула большая рыба. Полковник насторожился, в глазах мелькнул охотничий азарт, даже ноздри короткого, тупого носа раздулись.

— Щука! — почти вскрикнул он, напряженно глядя в воду.

— Пусть себе поживет, в другой раз выловим, — сказал колхозник. — А вы рассказывайте, рассказывайте, как у вас там все было.

— Не у меня. Я тогда был лейтенантиком. Прямо из Качинской школы — и на фронт. На свой истребитель поглядывал, как на девушку, влюбленно-боязливо: хорош, а какой характер, черт его знает!.. Ну и, как водится, страшно храбрился, мечтая о подвигах, рвался в бой. А командир полка, как назло, до поры до времени выпускал нас, юнцов, лишь на барражирование. Мы считали его перестраховщиком. Бюрократом. Ненавидели его, как только могли. Ну как же: фашисты у Ржева, бои воздушные то здесь, то там, а он нас, как жеребят, гоняет на корде. Гуляем в воздухе, как в горсаду. Парочками. Словом, явный бюрократ, поклонник инструкций...

Однако я не об этом. Не о себе... Так вот, изнываем мы от тоски на аэродроме, и вдруг на исходе дня, за ужином, после того как была принята «наркомовская доза» и приспело время расходиться по палаткам, влетает в столовую мой друг Сашка Кравец. Такой же, как я, желторотый птенец. Влетает и кричит: «Ребята, тихо, потрясающая новость! Утром артисты прилетают. Из областного театра. В полдень будет концерт».

И верно. На следующий день комиссар полка вызывает к



себе меня и этого самого распотченного Сашку: встретить артистов, привезти их в балку. Весь народ, что будет свободен, туда созвать. И чтоб без гаму и беготни. Фронт-то — вон он, рукой подать, орудия целый день гудят, а в ясную ночь и пулеметы слышны.

Ну, мы с Сашкой, понятно, рады стараться! Грузовик, на котором горячее развозили, как кадку для огурцов, с хвостом вымыли. Для приличия обтянули плащ-палаткой. Чистые подворотнички себе подшили. Побрились два раза. Даже полевых цветов нарвали. Ей-богу! Ходим по аэродрому с букетами, как женихи какие. Народ потешаем и все на небо глядим: на восток. «По поручению командования части позвольте нам...» Ну и так далее.

Вылезают. Девять душ. Ну, мы с Сашкой, как положено, артисток во все глаза разглядываем, расшаркиваемся, цветы, всякие хорошие слова... Молодость! Из артистов, признаться, рассмотрели только одного. Старик уж. Толстый. Лицо в красных жилках. Сизый нос. Длинная такая косица, где-то сбоку начинающаяся, довольно ловко в два заворота к лысине примазана. Еле я его из самолета вытащил: укачало беднягу. И такая досада! Пока я этого почтенного дядю на землю извлекал, пока водой его отпаивал, Сашка мой со всеми артистками в боевое взаимодействие вошел, натаскал откуда-то из палаток стульев, расставил в кузове, как в гостиной, рассадил их и разливается соловьем о фронтовой жизни, о всяческих летных боевых делах, разливается и на меня, подлец, поглядывает: как, мол, каков я?

Ну, а тем временем старикан мой немножечко отдышался, маскировочную косицу свою на лысине аккуратно разложил и от всего этого помолодел даже. Встал, отрекомендовался: такой-то, актер комедийного плана. Ну, сами понимаете, как только в кузове мы всех разместили, я об этом комедийном плане сразу и позабыл. Ну как же, судите сами, у Сашки шумный успех, такие «мертвые петли» и «штопоры» выкладывает, что артистки только жмурятся и ахают: «Ах, Александр Иванович, вы прелесть! Ох, товарищ лейтенант, как это безумно интересно...» Меня завидки берут... И вспомнил я об этом моем комедийном старикане, признаться, только когда он уже в костюме и гриме появился на сцене.

На сцене! Сейчас я вам скажу, какая это была сцена. Вот слушайте. Обстановочка следующая: на дне оврага, в кустах, грузовик. У одного из бортов на палках занавес из плащ-палаток. У занавеса Сашка Кравец сияет, будто его всего с ног до головы песком надраили. А на откосах оврага — зрители. Весь

наш авианолк. Все, кто свободен. А до фронта — рукой подать. Беспечные мы, надо сказать, тогда были, первый месяц войны... Так вот, Сашка наш, уже прочно прикомандировавшийся к искусству, объявляет, что будет показана сцена из комедии Островского «Лес». С одной стороны из-за плащ-палатки выходит здоровенный артистиче с басом, как у нашего старшины, — Геннадий. С другой выскакивает этот самый комик. Сразу-то я его в гриме и не узнал. Преобразился совершенно. Где она, эта стариковская одышка, эта сипотца в голосе, этот рот, брызгающий слюной? Откуда что взялось! Подвижной, вертлявый как бес, хитрый, смешной, жалкий. Словом, Аркашка Счастливец. Сами знаете.

Как уж они там гримируются, это мне неизвестно, никогда в жизни за кулисы не ходил, только преобразился человек неузнаваемо. Рта не успел открыть, а по балке хохот... Так и пошло: тишина — хохот, тишина — хохот. На Геннадия, что как «ИЛ» на бреющем полете гудит, никто и не смотрит. Все только на комика. И так это он за несколько минут всех захватил, что как-то даже удивило нас, когда вдруг рядом в рельсу ударили: пост ВНОЗ. Воздух! Только тогда на небо взглянули — и замерли. На горизонте «Ю-87». Пикировщики. Колеса у них еще под брюхом не убирались, похоже было, будто ноги в лаптях торчат. Мы их «лаптежниками» звали. А под крыльями — сирены: когда идут в пике, режут. Для паники... Очень с ними, с этими «лаптежниками», в первые месяцы войны считались.

Так вот, звено «лаптежников» на нас и идет. Высота — километра два. Облачка, но день ясный. Признаюсь, первый раз их с земли-то вблизи видел, и такой обуял меня страх, что я окаменел. Точно судорога свела. Это сначала. А потом захотелось бежать. Куда, зачем — все равно, только бежать. Прятаться. Закрывать руками голову. Словом, надеть кучу глупостей. Но прошу учесть: начало войны, и таких, как я, необстрелянных повичков в полку большинство. Не только обстреляться, но многие даже и загореть не успели. Ну, наступает страшная тишина, и в ней этакий вибрирующий рев: «У-у, у-у, у-у!» И сквозь этот рев доносятся слова комика. Ну, там рассказывает он Геннадия что-то. Смешные такие слова. И оттого, что они простые и смешные, их тоже страшно слышать, когда это «у-у» все нарастает, а самолеты почти над головой. Комик, должно быть, так увлекся, так в роль вошел, что ничего не замечает, как тетерев на току. И тут раздается голос комиссара:

— Слушать мою команду! Никто ни с места! Не шевелиться!

Только тогда, должно быть, актеры и заметили опасность. Они замерли в самых неподходящих позах. Глядят на небо. А «лаптежники» меж облаками плывут: появятся — скроются, появятся — скроются. И уже хорошо видны эти их пресловутые «лапти», желтые подкрылки, черные кресты. Снизу всегда кажется, будто самолет прямо на тебя летит, в тебя целит. И бежать такая охота, что все тело, точно крапивой обстреканное, зудит... Вы вот говорите, что храбрецами рождаются. А сами не испытывали такого? Ага, то-то вот... Я полагаю, дорогие товарищи, что нет человека, кто страха не знает. Разве больной какой. Или идиот... Так вот, страхом таким подстегнутые, сколько-то там человек с места срываются — и бежать.

— Продолжайте спектакль, — это комиссар просит.

И слышу я, как этот мой старый комик, тот, что своим фиолетовым носом да маскировочной косицей так меня удивил, этот больной, одышечный человек дрожащим голосом бросает какую-то реплику. Геннадий ему отвечает. Опять между ними завязывается разговор. Глазам не верю: играют! А между тем самолеты прошли, делают широкий разворот — и опять к нам. То ли ищут, то ли уж нашли и на рубеж атаки выходят. Я это понимаю. И другие, что вокруг сидят, понимают. Но почему-то теперь уже не так страшно. На сцене звучат человеческие слова. Спокойные, обычные. Трагические и смешные. Все замерли. Слушают. Бледные, на висках пот, но слушают. Вот уже кто-то засмеялся. Послышались аплодисменты. А тишина такая, что в овраге эхо отзывается.

А тем временем «лаптежники» развернулись — и на нас. Ищут? Заметили? На бомбежку пошли? Кто ж знает! Но на сцене Аркашка и Геннадий. Разговор. Игра. И какая игра! Может быть, конечно, мне так с перепугу показалось, но я и сейчас, спустя столько лет, уверен, что никогда еще не видел такой актерской игры, как в те минуты. В Малом бывал, в Художественном в прошлом году все постановки видел, а такой игры не помню... Да, да, да... Этот жалкий, смешной Аркашка и надутый, тоже смешной Геннадий точно сковали всех нас своей игрой. Бомбардировщики на нас идут, а мы, несколько сот людей, сидим неподвижно. Будто одеревенели. Будто загнипнотизировала нас не то эта самая игра, не то самоотверженность артистов, и мы смеялись, переживали, не меняя поз, аплодировали. Аплодировали под это проклятое, вибрирующее «у-у, у-у, у-у...».

Вот вы, товарищ инженер, говорили о влиянии среды на характер. Среда — это верно, конечно. Старая истина: с кем

поведешься, от того и наберешься. Но ведь за эти несколько минут среда не изменилась. Необстрелянный, зеленый полк остался таким же зеленым, необстрелянным. Но каждый из нас в эти мгновения точно бы обнаружил в себе какой-то непочатый запас храбрости, о котором он минуту назад и не догадывался. А почему? Вот вы и подумайте, почему...

Но продолжаю. Когда первый самолет, проревев сиренами, прошел над нами, артист, что изображал Аркашку, сделал жест, будто отмахивался от надоевшего комара. И так это вышло неожиданно и уморительно, что все покатались со смеху. Должно быть, поощренный этим, Аркашка повернулся в сторону двух других приближавшихся самолетов и захлопал в ладоши с сердитым видом хозяйки, отгоняющей ворон от куриного корма, и даже пропищал бабьим голосом: «Кыш, проклятые!»

Не остроумно! Может быть. Но в это мгновение нам всем показалось, что остроумней ничего и придумать нельзя. Видим, как на нас с ревом летят самолеты, и хохочем. Сотни хохочущих глоток! И не истерично, нет, а эдаким ядреным смехом, каким должны бы смеяться богатыри. Слов уже со сцены не слышно, но почему-то очень смешно было снова и снова видеть это мимическое «Кыш, проклятые!», видеть хладнокровного Аркашку, радостно ощущать собственную свою храбрость и — что там, хлопцы, греха таить! — маленечко любоваться самим собой перед хорошенькими, насмерть перепуганными артистками: вот, мол, я какой, под крылом «лаптежников» смеюсь, и хоть бы что...

Когда бомбы падают, всегда кажется, будто они идут прямо тебе на макушку. И это мы видели. И слышали их сверлящий свист, но никто не сдвинулся с места, не схватился бежать. Это просто никому и в голову не пришло. Ведь там, на грузовике, актеры продолжали свою сцену. И кто мог в такой обстановке оказаться трусливее других?

«Лаптежники», должно быть, что-то все-таки знали о нашем аэродроме. Но аэродром был хорошо замаскирован, и, не разглядев в лесу ничего подозрительного, не заметив никакого движения, они так и ушли, опростав наобум одну-две кассеты. Никого не убило, не ранило. Разбило только бак с питьевой водой. Это была единственная наша потеря... Теперь подумайте, что было бы, если бы при первом их пролете поднялась паника и все врассыпную? Артисты спасли десятки, может быть, сотни людей... Случайность? Нет, дорогой ты мой колхозный скептик, не случайность... Как только «лаптежники» ушли и опасность миновала, а друг мой Сашка Кравец соединил плащ-палатки,

выполнявшие роль занавеса, старому актеру сразу же стало худо. Он упал на руки товарищей. Мы втроем еле спустили его с машины и потом уже на носилках тащили в санчасть. Его лихорадило. Каждый выстрел далекой канонады заставлял его теперь вздрагивать. Вечером, когда гости покидали нас, мы еле уговорили его подняться в самолет. Он все с опаской смотрел на небо, все прислушивался и спрашивал, не могут ли опять налететь враги...

И все же, товарищи, храбрее этого человека я не видел. Да, да, да! Восвал много, два раза горел в воздухе. Бывал подбит. Раз спрыгнул с парашютом над самым вражеским передним краем и, направляя полет шнурками строп, тянул к своим. Всяко бывало. А вот подобного не доводилось видеть...

Полковник замолчал. Молчали и его собеседники.

Сгустившийся туман, будто снег, подгоняемый выюгой, волевался над водой, посеребрённый светом большой, ясной луны. Где-то очень далеко, должно быть в колхозе, что был за горой, не очень умело наигрывали на балалайке незатейливую повторяющуюся мелодию. Опа доносилась, еле слышная, и, вероятно, от этого казалась задумчивой, красивой.

Рассказчик зябко передернул плечами, пошарил в шароварах, достал коробку папирос, угостил собеседников. Одну взял сам. Когда он зажег спичку, все заметили, что пальцы его слегка дрожат.

И каждый из трех собеседников подумал: «Почему бы это?»

*1956 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Последний день Матвея Кузьмина . . . . .	5
Номер «Правды» . . . . .	13
Ее семья . . . . .	20
Редут Таракуля . . . . .	30
Мы — советские люди . . . . .	42
На военной дороге . . . . .	58
Разведчики . . . . .	74
Рождение эпоса . . . . .	83
Сапер Николай Харитонов . . . . .	102
Могила неизвестного солдата . . . . .	113
Свой . . . . .	126
По старым следам . . . . .	149
Земляк . . . . .	165
Пан Тюхин и Пан Телеев . . . . .	183
Передовая на Эйзенштрассе . . . . .	200
Храбрость . . . . .	214

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

**Борис Николаевич Полевой**

МЫ — С О В Е Т С К И Е Л Ю Д И

Ответственный редактор *Е. М. Подкопаева*

Художественный редактор *А. Б. Сапрыгина*

Технический редактор *Т. Д. Юрханова*

Корректоры *К. И. Каревская* и *Г. С. Муковозова*

Сдано в набор 12/IV 1974 г. Подписано к печати 10/VII 1974 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 14. Усл. печ. д. 13,06. Уч.-изд. л. 12,58. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2602. Цена 57 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература», Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

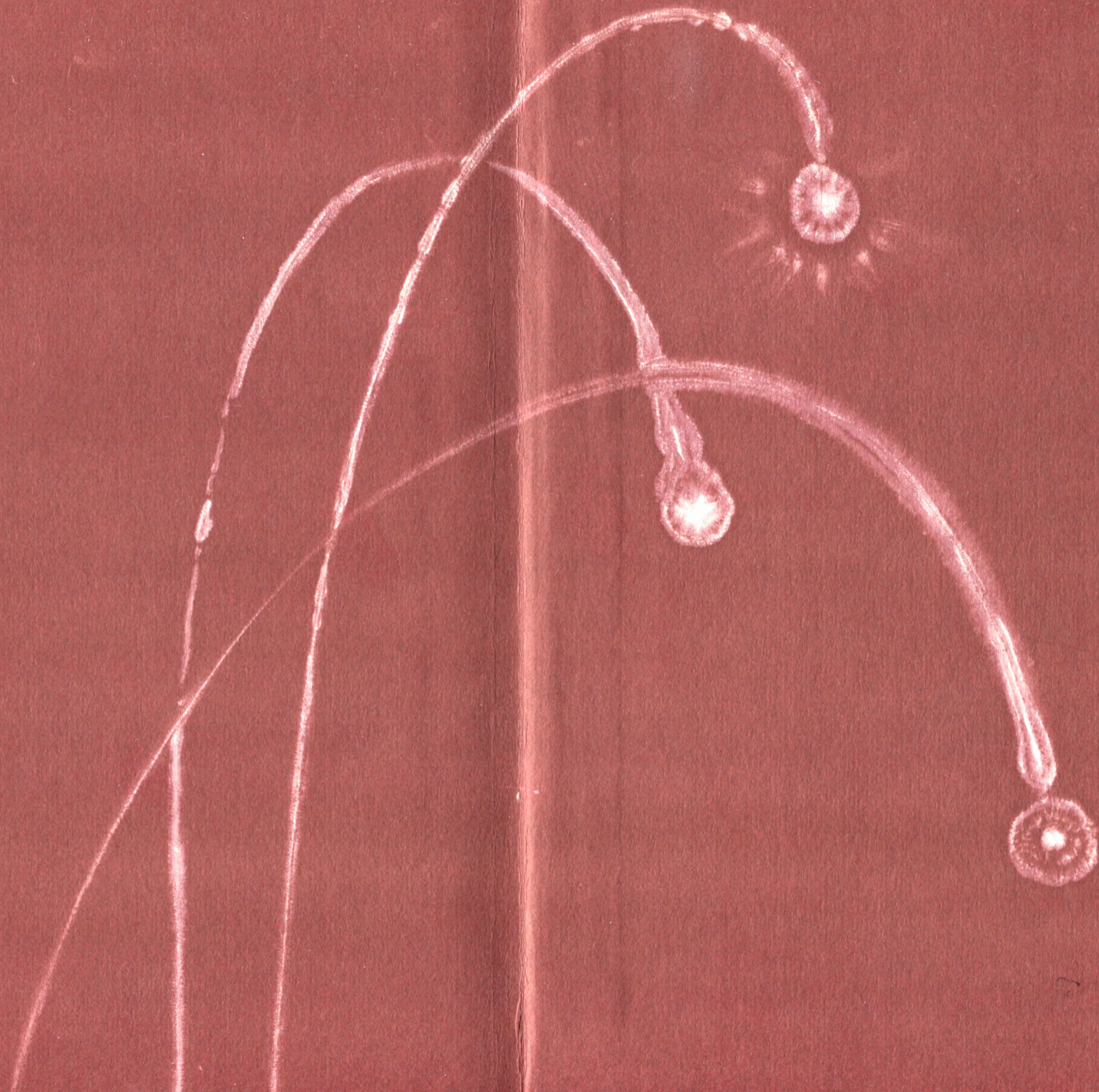
**Полевой Б. Н.**

**П 49** Мы — советские люди. Рассказы. Оформл. А. Ременника. Рис. В. Щеглова. М., «Дет. лит.», 1974. «Военная библиотека школьника».

223 с. с ил.

Рассказы о подвигах советских воинов во время Великой Отечественной войны.

**Р2**



57 коп.



Борис Полевой • МЫ-СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ